



«ПОСОХ ДЕДА МОРОЗА» И ДВЕ НОВЕЛЛЫ О МОИХ ПСАХ

Дина Ильинична Рубина – русская писательница. Родилась в Ташкенте. Окончила Ташкентскую консерваторию. В 1994 году переехала в Москву, в 1990 году репатрировалась с семьей в Израиль. Первая публикация — в 1971 году (журнал «Юность», рассказ «Беспокойная натура»). Рассказы и повести Дины Рубиной печатались в журналах «Юность», «Новый мир», «Огонек», «Континент», «Советская литература за рубежом», «Искусство кино», «Дружба народов», «Время и мы», «Знамя», «Обозреватель», а также во многих литературных альманахах и сборниках. Автор многих романов, лауреат многих литературных российских и зарубежных литературных премий, в том числе премии «Большая книга». Роман Дины Рубиной «На солнечной стороне улицы» был отмечен как лучший роман десятилетия на конкурсе «Учительский Букер» (2011) журнала «Литература» Издательского дома «Первое сентября», проводившемся в рамках мероприятий премии «Русский Букер».

Прямая речь: «Трудно писать о взрослеющей беззащитной, и в то же время, жестокой человеческой душе. Иногда я вспоминаю свои подростковые годы – ужасные, мучительные, – когда не имеет особого значения, благополучна ли твоя семья, и любят ли тебя родители. Просто, на тебя наваливается мир, и ты должен выстоять в одиночку. А мир – это ведь не только люди, это и бегущие облака, что летят в никуда прямо через твое сердце, и оперенные весной деревья, названий которых ты еще не знаешь, и впервые увиденный водопад, и смерть бабушки или деда, и расставание близких, и жестокая дворовая драка... Это явление густого потока жизни, который взрослые, любимые и оберегающие тебя люди, уже не в силах для тебя отфильтровать, очистить так, чтоб остались лишь красота, любовь, смелость и справедливость. Это первые уроки противостояния личности – обществу.

Я так болезненно вспоминаю свое взросление, что очень редко оборачиваюсь на подростковые годы; у меня очень мало вещей, в которых действуют подростки, и все они написаны давным-давно, когда я сама говорила этим ломким и дерзким голосом, и не могла иначе смотреть на мир, как только из окошка растущей диковатой души.

Но есть у меня один, написанный не так давно рассказ, “Посох Деда Мороза”, в действие которого просто просился юный человек.

Дело было так: однажды мой старый друг режиссер Станислав Митин, посмеиваясь, рассказал историю своего давнего, еще в студенческие годы, выступления на Новый год в пионерлагере, в роли Деда Мороза. Это была одна из тех забавных актёрских баек, что легко рассказываются в застолье, и так же быстро и легко забываются.

Но та байка засела в голове, что-то в ней было: молодость моего друга, глубокий снег, густой лес, расстояние чуть ли не в тридцать лет, отделяющее нас от того времени... Все это само по себе вызывало ностальгическую грусть. Однако для написания рассказа явно не хватало того гвоздя, смыслового околышка, на котором обычно держится действие и внимание читателя... И в какой-то момент я поняла, чего не хватает хорошей доброй истории: вот этого самого отчаянного

противостояния миру, этой заветной мечты, ради которой пойдёшь на всё; юной безоглядой влюбленности и огромной неизвестной жизни, что расстилается перед тобой на трудном переходе из детства в юность. Так возникла рыженькая героиня-подросток рассказа «Посох Деда Мороза», и всё сложилось: и снег, и юность, и новогодняя ночь...

И рассказ написался».

ПОСОХ ДЕДА МОРОЗА

Элле и Станиславу Митиным

После утренней репетиции к Мише подошёл в актёрском буфете замдиректора Свиридов и спросил, мол, Мишаня, заработать не интересуетесь?

Свиридов был мужиком гульным, разговаривал фразами из матерных анекдотов. И отвечать ему следовало тем же. Соответственно, вышеприведенный вопрос звучал куда энергичней, чем тут, на бумаге, и Миша ответил, как надо: а какой, мол, какого же эдакого не захочет, покажите, мол, мне такого... – время было предновогоднее, дед-морозное, для актерской братии урожайное и бессонное: утренники на утренниках.

Выяснилось, что где-то за Репино в пионерлагере хотят Деда Мороза. Но буквально 31-го вечером, и главное, в чем закавыка, Мишаня: туда доставят, а назад машины не будет. Оттуда уж электричкой...

– А как же я выберусь, 31-го-то, на ночь глядя? – спросил Миша. На Новый год он был приглашен в хорошую компанию, где интересовался сразу тремя разными, но равнопрекрасными девушками.

Свиридов развел руками: это уж, Мишаня, как водится – либо заработать, либо лясы точить. Буквально выразился он, конечно, иначе.

– Сколько? – спросил Миша, вздохнув. Деньги нужны были очень.

– Ну, в том-то и дело: восемьсят.

Миша присвистнул и торопливо, на этом же свисте, сказал:

– Идёт!

Деньги давали громадные. Обычная такса была – 50. Вероятно, добавляли за моральный убыток. Но и убыток был громадным – выгуливай потом трех славных девушек индивидуально...

– Сергей Семеныч! – окликнул Миша спускавшегося по лестнице Свиридова. – Но реквизит-то будет?

– Устроим, Мишаня! – крикнул снизу Свиридов. – Армяк-посох-борода и Снегурочка-...! – Дальше совсем уж было неприлично, и главное, раскатывалось эхом по всему зданию театра. Впрочем, народ тут был непугливый.

Миша вернулся в буфет, дожевал кисель, круто сваренный из концентрата, и побежал по делам.

Идиотские речёвки, стишки и загадки, положенные старому хрену с горы, Миша вызубрил, от души матеря творцов этой отрасли искусства Мельпомены.

И дня за два до Нового года стал искать Свиридова насчет армяка и бороды. Ну и Снегурочке пора было объявиться из-за какого-нибудь сугроба, потому как обнаружилось, что весь женский пол – вплоть до шестидесятилетней Марии

Николаевны Аркашиной – был разобран на елки-утренники месяца за полтора.

Но замдиректора исчез. По его домашнему телефону измученный женский голос отвечал, что Сергей Семенович серьезно болен и не скоро поправится.

Выходит, запил опять, скотина...

Запой у Свиридова случались нечасто, раз в году, но уж тогда он как в штольню летел, а выкарабкивался медленно и драматически: непременно с какими-то остановками сердца, с капельницами, клизмами, шлангами в носу и прочим милым реквизитом.

Проклиная безответственного Свиридова, Миша кинулся в костюмерную – все давно было разобрано. Он обзвонил знакомых, потрепыхался еще, обежал театральные лавки... но там словно кто метлой повымел. Остался последний посох, раскрашенный почему-то под зеленеющую ветвь, и запыленный бронзовый парик, похожий на скальп бухгалтера их театра Фриды Савельевны, если б его непрофессионально снял торопливый индеец. Скальп уценен был до двух рублей тридцати пяти копеек. Все это Миша зачем-то купил в лунатическом отчаянии.

Затем он махнул рукой и покорился судьбе. Вот только пионерских заказчиков надо было дожидаться и извиниться по-человечески. Свиридов, помнится, говорил, что за ним заедут часов в восемь вечера прямо к служебному входу.

И ровно в восемь снизу позвонила вахтерша, пропела:

– Михал Бори-и-и-сыч, тут к вам товарищи...

Миша вздохнул, удавил сигарету, накинул на плечи первое попавшееся полупальто с вешалки и пошел извиняться, но перед тем как выйти из гримерной, прихватил – может, бессознательно – зеленеющий в углу дурацкий посох и бронзовый скальп, и – совсем уж непонятно зачем – сунул в карман валявшийся на столе ноздрявый носище с паклей усов, на резинке.

У служебного подъезда стоял «пазик» с несколькими пассажирами. Впереди сидел мужик в тонну весом – вероятно, какой-нибудь областной начальник. За ним маячили две тетки. Опираясь на посох, Миша прошествовал к «пазику» походкой Алексея Максимовича Горького, что идет по Волге за знаниями, приоткрыл дверцу и сказал внутрь смущенным, но правильно подобранным, достойным тоном:

– Товарищи, вот, собственно, я – Дед Мороз. Но без костюма и без Снегурочки...

В машине образовалась плотная недоуменная пауза. Начальник, от которого при движении поднялось винное облачко, обернулся назад и тяжело спросил: «Роза Арутюновна?..» – и та зачастила, что все было договорено, и трижды звонили, чтоб наверняка, а те трижды подтверждали, бессовестные!

Миша все бормотал, ковыряя посохом снег под ногами, что это Свиридов обещал, что борода и армяк – товар в это время дефицитный, но поскольку Свиридов в запое, то... я, пожалуй, пойду, товарищи...

– Я те пойду! – невкусно выдохнул мужик и ухватил Мишу за пустой рукав накинутаго пальтеца, словно тот бы сейчас бежал. – Артист, ебень! У меня там сто пятьдесят оборотов, третий и четвертый классы, эт куда их?! Не-е-ет, вот залазь, поедем, и пусть они тебя схавают с потрохами!

Его запихнули в «пазик», поехали... Минут через пятнадцать угрюмого молчания одна из теток сказала:

– Вы часок продержитесь? Я позвоню подруге в «Красные командиры», может, они поделятся своими артистами, те у них раньше начинают...

Машина ехала куда-то в сторону Финского залива, сначала по шоссе, потом свернула и пошкандыбала лесом, по корявой дороге с еще не уезженным настом.

Ехали молча, в напряженной обоюдной ненависти. Так же молча с полчаса толкали в морозной чернильной тьме застрявший в колдобине «пазик». Все взмокли, нагрузили сапоги снегом, начальник – тот даже протрезвел и помрачнел еще больше.

Затем свернули на совсем уже интимную тропку и, с подбелдыкиваниями желудка к горлу и штормовыми раскачиваниями «пазика» в ямах, въехали наконец в разъявленные ворота под тусклым фонарем, прокатили по хрустящей снегом аллее и остановились.

Типовое кирпичное здание школы, освещенное электричеством по всем трем этажам, казалось отсюда, из чащи нагруженных снегом елей и сосен, чуть ли не декорацией к «Щелкунчику». Было что-то театральное в медленном кружении снежинок там, где золотой квадрат окна отлавливал их табунки из небытия.

На крыльце торопливо докуривал сигарету старшеклассник, а его подружка помчалась докладывать о прибытии Деда Мороза. Видно, их ждали давно.

Тут компания разделилась, Мишины попутчики делись куда-то – может, отправились допивать и праздновать в кабинет директора лагеря (а им как раз и оказался угрюмый мужик, так лихо и незаконно умыкнувший Мишу) может, по домам подались, а может, приперлись в зал посмотреть на Мишин позор.

Его же самого паренек пионервожатый коридорами проводил за кулисы. В зале бесновались, визжали дети.

– Во, слышите? – сказал пионервожатый. – Мы их тут музыкой глушили... больше часа... Я вас как объявляю? К нам приехал Дед Мороз?

– Объяви – артист ТЮЗа Михаил Мартынов, – сказал Миша, сбросив на стул чужое полупальто и напяливая на собственные непослушные вихры бронзовый скальп. На всякий случай и носяру насадил на лицо, с неопрятным кустом, лезущим в рот. – Это что там у вас в углу? Пианино? Играющее?

– Без понятия, – ответил пионервожатый. – Вроде первоклашкам вчера что-то играли...

Он вышагал на середину сцены, сложил ладони рупором и крикнул в зал:

– Т-и-иха-а-а!! А ну, тиха!!! Начинаем!

Зал завизжал, заулюлюкал... Паренек все стоял, грозно всматриваясь в ряды:

– Бакланов и Шварц, а ну, сели спокойна-а!!!

– Пошел вон! – сказал ему Миша из-за фанерной кулисы.

– Чего? – спросил тот, повернув голову.

Миша знаками показал ему, чтоб проваливал, проваливал наконец... и, не дожидаясь больше ничего, выкатился колесом на сцену, поднялся, гикнул, сделал сальто, еще одно, подкатил к инструменту, отбил чечетку, перевернулся, приземлился с размаху прямо на стул и распахнул крышку – клавиатура отозвалась под его руками дребезгом плохо настроенных звуков... А ведь могла быть и заперта, подумал Миша с облегчением... Он пробрякал несколькими бойкими аккордами сверху вниз и запел песню Бармалея из недавно выпущенного спектакля «Доктор Айболит».

Дети, перевозбужденные, утомленные долгим бездельным ожиданием, никак не могли успокоиться. Гул и взвизгивание в зале, выкрики, топот сопровождали Мишино пение... Они, конечно, ждали старика в армяке (сволочь, Свиридов!),

Снегурочку, всех этих заезженных новогодних стишков, подарков... Кстати, роскошная – вероятно, прямо из здешнего парка – наряженная шарами ель с криво нахлобученной на гнутую верхушку желтой пикой, тоже была достойна украсить собой декорации к «Щелкунчику»... Она стояла в огороженном стульями углу зала, с тусклой пока сетью фонариков, и ждала команды зажечь свои огни. Следовало бы, наверно, проорать что-нибудь из того, что он вызубрил:

«Отвечай-ка на вопрос: как зовусь я?..» – но где была гарантия, что фонарики зажгутся?

Прошло минут десять; Миша просто работал, гнал репертуар, пел все, что накопил за пять лет беспорочной службы в театре... Парик съехал ему на ухо, лицо под картонной насадкой вспотело, но он как-то не решался все это снять, чтоб не остаться на сцене совсем уже голым буднем.

В дело пошли «битлы», «Подмосковные вечера» и коронный его номер – гимн Советского Союза канареечным свистом на четыре лада... Дети не воспринимали ничего. Они хотели Деда Мороза, хотели подарков и чтобы елка зажглась и закружилась – все не ладилось, все катилось к черту... Перед ним, как «мене, текел, фарес», всплыли страшные стишки, зазубренные на скорую руку; и вывинтившись из-за пианино, он проделал перед микрофоном несколько притоптывающих па и крикнул в зал:

Вам неведомы тревоги!
Вам открыты все дороги!
Вам желаю счастья я!
Будьте счастливы, друзья!

Ему казалось, что этот кошмарный сон длится уже больше часа... когда в двери зала с воплями и гиканьем ввалились спасители: Дед Мороз, каланча и дубина, и пискля-Снегурка. Видать, «Красные командиры» пошли все же навстречу Розе Арутюновне, поделились залетными артистами. И пока те, голубчики, ухая, кружась и приседая, шли в гущу детей, подобрав полы ватного армяка и расшитого блестками, золотой и серебряной фольгой Снегурочкиного наряда, Миша узнал обоих.

Это были профессиональные «чесальщики»: ядреные, горластые, сверкающие Дед Мороз и Снегурочка – уже довольно пьяная чета Говорянков, Фима и Маша. Вся штука была только в том, что высокая, дородная, с нутряным волжским басом Маша всегда исполняла морозного деда, а вертлявый сморчок Фима наряжался Снегуркой. Такое у них было незыблемое амплуа.

– Вам не ведомы тревоги! – завопил сморчок Фима.

– Вам открыты все дороги! – забасила Маша...

Миша не стал дожидаться окончания великого произведения, даже не стал раскланиваться, просто выпал за кулисы и выскочил в коридор. Он был мокрым, как мышь. С омерзением стянул с себя парик и накладную личину, сунул в карман... Достал сигарету и жадно закурил – он все еще не очень верил, что спасен... В зале визжали счастливые дети, и Маша гудела, как паровозный гудок: «Е-лач-ка, заж-гис-ся!!!»

Ясно, что о плате за все это безобразие ему даже и заикаться не следовало. Деньги, хотя б тридцатку в качестве компенсации, он намеревался выколлотить из

алкоголика Свиридова – потом, если тот не подохнет.

И, приговаривая: «Сволочь, вот сволочь!», Миша с посохом подмышкой (взял его за каким-то чертом, а выбросить жалко!) стал спускаться по лестнице в натопленный вестибюль, где на вешалке сиротливым кулем висело пальтецо.

Теперь надо было сообразить, как отсюда выбираться.

– Эй! Клоун! Как вас там...

Миша, с рукой, продетой в один рукав, обернулся. К нему грузно спускался директор – тот, многопудовый, что завез его в эти дебри и вытолкнул на растерзание пионерам. Дать бы ему сейчас по жирному брюху коленом, да кулаком – по тупому затылку, да добавить по...

– Ты вот что... У нас бухгалтер только завтра утром приедет. У нее мать вчера оперировали. А без нее я тебе денег выдать не могу...

Миша продел вторую руку в рукав, степенно обдернул коротковатые обшлага, чтобы не показать своего потрясения: этот святой человек все же собирался платить!

– Так что тебе деваться-то некуда. И поздно уже... Новый год же, это... настает...

– А... что ж мне делать? – спросил Миша.

– Сиди здесь, жди... Вернусь, – сказал директор, и действительно минут через десять спустился уже одетым, направился к выходу, молча загребая воздух рукой, чтоб Миша, мол, следовал за ним.

Так, гуськом, в мрачном молчании они вышли к воротам, свернули налево и буквально через несколько десятков метров подошли к дому – типовому трехэтажному, с бугристым от снега палисадником, с зияющим провалом неосвещенного подъезда, в проеме которого металась и плясала круговерть белых хлопьев.

Миша понял, что этот мужик, в каждом взгляде которого чувствовалось презрение к шуту, актеришке, засранцу... ведет его к себе домой, за семейный стол. Видно, не может допустить, чтобы в праздник пусть и такой вот никчемный балбес остался без рюмки и огурца. И горячая волна благодарности плеснула голодному Мише куда-то в область диафрагмы, как бы ополаскивая резервуар, подготавливая его ко вкушению дивных яств.

А стол уже был накрыт... Семья ждала хозяина.

– Вот... – сказал директор жене, тоже многообъемной, полнолицей, с таким же круглым кугелем на макушке, отчего ее голова была похожа на игрушку «Ванька-встанька» – она и качала все время этим сооружением, и склоняла к плечу тяжелый шар головы. – Вот, артиста привел... накормить. Некуда девать парня...

– Витя... а где ж его покласть? – озабоченно, после беглого «дрась», спросила супруга.

– В спортзале переночует, на матах, – ответил тот. – Ничего, молодой... спортивный.

Когда все уселись за стол, Миша незаметно оглядел семейство.

«Ванька-встанька» сидела рядом с мужем. Грузная старуха с лицом, изгвазданным какими-то бурыми рубцами, – теща или свекровь – сидела напротив, наблюдала за мальчишками-близнецами лет восьми, тоже толстыми, круглолицыми. По правую руку от матери сидела старшая дочь, заслоненная от Миши могучим брюхом отца...

К столу успели вовремя: минут через пять в телевизоре пробили куранты, отец семейства налил себе и Мише водки, сказал:

– Ну, с Новым счастьем! – и выпил.

Жена отозвалась:

– Здоровья, здоровья, главное!

– Нина, язык ты недосолила, – встряла старуха.

– Мама, а в праздник, единственный в году – можно мне без этого надзора?! – как-то сразу громко, с ненавистью крикнула толстая. И муж рыкнул на нее, протянув руку за соленым огурцом.

– Ты чего сидишь засватанным? – буркнул он Мише. – Давай, отоваривайся...

– Если недосолила, так я и скажу просто: недосолила, – невозмутимо отозвалась старуха. Свекруха, ненавистница, подумал Миша...

Более странной встречи Нового года у него в жизни не бывало.

Эта тяжелая, угрюмая – под стать своему хозяину – семья вела неутихающую междоусобицу по всем фронтам. Старуха оказалась вовсе не свекровью, а тещей, и ухитрялась одновременно накручивать и дочь, и зятя, хотя возбудить этого носорога на военные действия, да еще с каждой новой рюмкой – для этого требовалась какая-то изощренная сила бытовой ненависти. Несколько раз хозяин наливался багровым соком и, глядя исподлобья на старуху, рычал что-нибудь вроде: «Мамаша... или вы сейчас стихнете со своей кулебякой, или я эту кулебяку вам сейчас...» – И тогда уже супруга вступалась за ядовитую бабку. Дети, видимо, были привычными к такому градусу жизни. Мальчишки уминали за обе щеки, смотрели телевизор, и лишь когда очередная звуковая волна разборок перекрывала голоса ведущих «Голубого огонька», наперебой кричали:

– Тихо, ну тихо, папа!.. Бабуль, молчи!

Часа через полтора хозяин тяжело поднялся из-за стола, налил на посошок водки себе и Мише, заставил выпить и сказал:

– Сыт-пьян? Ну, чтоб не говорил, что бросили замерзать в лесу... Пошли, отведу тебя на боковую... Утром Людмила придет, выдаст денег...

– Вы хоть подушку возьмите... – сердобольно добавила «Ванька-встанька» и качнула верхним шаром в сторону дивана. – И плед...

– Ничего, спасибо, я курткой накроюсь, – сказал Миша. – Не беспокойтесь.

Но она все же запихнула ему подмышку плед и сунула в руки думку...

– И палочка вот тут ваша. – Идиотский посох сопровождал его сегодня повсюду.

Вдруг кто-то спросил из-под локтя:

– А это вы играли Д'Артаньяна?

Он обернулся.

На него яркими янтарными глазами смотрела рыженькая, конопатая, лет четырнадцати... Нет, не в этом дело... Нежная солнечная крупка осыпала всю ее кожу; волосы того же оттенка, но плотнее тоном, падали на лоб, и глаза – все та же гамма светлого меда, янтаря, теплой канифоли... К тому же, хрупкая фигурка, озаренная золотистыми оттенками ее природных тонов, была еще и одета в рыжие брючки и желтый свитер. Ну надо же, подумал Миша, какое светлое дитя соорудили трое этих бегемотов... Не приемная ли?

– Да-да, – сказал он, топчась в коридоре, держа в нетрезвых объятьях плед и думку, – И Д'Артаньяна, и Маугли... и Бумбараша...

Девочка глядела на него влюбленно и зачарованно.

– Ну пошли, – буркнул папаша, выходя на лестницу. Миша оглянулся, помахал ей – мол, извини, видишь, утаскивают меня, – еще раз отметив это сияние золотой парчи, которое от нее исходило... И вышел.

Снова они шли гуськом, но в обратном направлении и медленнее. Директор шагал основательно, грузно, подсвечивая себе фонариком и то и дело шумно и сокрушенно отрывая. Миша на воздухе словно бы очнулся, огляделся... ему все нравилось: хрустящий под ботинками снег, резкий щипастый воздух, рвущий ноздри, деревья в снежных окладах... А сейчас заснуть, закинуть за спину весь этот странный вечер, забыть...

Он тоже был слегка пьян...

В холодном темном спортзале директор щелкнул выключателем, сказал:

– Ну вот... Не околеешь тут? Вообще-то здание отапливается, но зал-то огромный, не хватает.

В углу у стены, точно олады, горкой были навалены кожаные маты. В центре зала с потолка свисал канат, неподалеку от него пасся кожаный «козел», рядом с ожидающими чего-то брусками...

Миша бодро ответил, что все в порядке, и не там, и не так еще приходилось – и это было правдой. Очень ему хотелось рухнуть, доспать до утра, получить бабки и покинуть гостеприимную спортивную обитель Деда Мороза...

– Так... бывай, что ли?

Миша протянул руку, забормотал, что в другой раз непременно заранее...

– Нет уж, – честно сказал директор лагеря. – В другой раз прослежу, чтоб тебя здесь не было...

Он вышел.

Миша стянул с горки на пол тяжелый кожаный мат, щелкнул выключателем и в свете подслеповатого, с одного боку подбитого фонаря за окном добрался до своего лежбища, споткнулся об него и повалился спать.

Две-три минуты он боролся с идиотской думкой, пытаясь как-то приладить на ней голову, но голова съезжала то с одного ее каменного бока, то с другого, Миша отпихнул ее и накрылся пледом... Засыпая, думал: «Золотая парча... наряд такой на кукле... у бабушки Сони, на комодке... в детстве...»

И заснул.

– ...Доброе утро! – сказал кто-то у него над головой и, видимо, повторил это раз пять, прежде чем он продрал глаза. Безжалостное солнце било в физиономию.

Через секунду он понял, что никакого не солнце, а фонарик, и никакого не утро, а все та же сизая зимняя тьма за окнами спортзала. Молниеносно пронесся дикий табун мыслей в голове: грабить пришли, наказать, издеваться, мучить, убить!!! Одновременно с мыслями и вполне бессознательно его тренированное тело взвилось с мата и прыгнуло к стене: два года циркового училища в отрочестве и сейчас не подвели, несмотря на выпитое.

– Что! – крикнул он – Что, кто это?!

Перед ним, все еще светя фонариком, стояла какая-то фигурка – в темноте за кругом света ни черта было не разглядеть.

– Извините, что потревожила... – проговорила она жалобно.

Тут Миша опознал дочку толстого директора и от ужаса чуть не околел: вот

этого ему здесь не доставало для полноты счастья – совращения Дедом Морозом малолетней пионерки!..

– Ты что?! – крикнул он. – Рехнулась?! Какого лешего приперлась среди ночи?!

– Я... просто... я хотела спросить кое-что... Можно я с вами немного посижу? Голос ее набряк близкими слезами.

Вот задрыга! Стянуть фонарик, идти ночью сюда, к незнакомому человеку?! Он давно подозревал, что дочери – это наказание божье...

Миша подбежал к выключателю, щелкнул.

Продолжая сжимать в руке ненужный фонарик, она щурилась от света. С ворохом рыжих своих волос, с мерцающим излучением кожи она сама была словно порождением этого света...

– Чего тебе от меня надо? – спросил Миша злобно.

– У вас же все равно скоро электричка... – сказала она, садясь на мат. Сгорбилась.

– Ну-ка проваливай отсюда, – проговорил Миша. – Мне тут папаши твоего не хватает для полного удовольствия.

«Ничего себе вечерок да ночка», – подумал он. Сердце до сих пор колотилось, во рту было сухо.

– Он спит, – сказала доверчиво девочка. – Он же выпил... Они, когда выпьют, спят как медведи...

– Слушай, где тут кран? – спросил он, наждачным языком облизывая губы.

– Вы хотите пить? – встрепенулась она. – Я принесу!

И действительно, минут через пять принесла воду в железной эмалированной кружке.

– Это моя, – сказала она, – в изостудии. Я в ней краски развожу...

И стояла рядом, благоговейно смотрела, как он жадно пьет.

– Ты рисуешь? – спросил Миша, отдавая ей кружку.

– Рисую, да... Но я хочу актрисой быть. Я хочу, знаете, играть... Констанцию Буонасье!

Ах, вот оно что... Ну да, как он сразу не догадался...

– Ты... тебя как зовут-то?

– Таня!

– Знаешь, Таня... Ты подумай хорошенько, советую... ведь этот наш труд – такая морока... столько обид, тоски, интриг... зависти...

– И у вас – зависть? – спросила она. – Я не верю. Вы такой... такой летучий, прыгучий!

– Вот-вот, – усмехнулся Миша, – летучесть-прыгучесть в цирке главное достоинство... В театре необходимы еще кое-какие качества...

– А я «Трех мушкетеров» из-за вас три раза смотрела, сначала с восьмыми классами, потом с седьмыми, потом опять с восьмыми... Вот то место, когда вы фехтуете на лестнице один против шести! Это так здорово! Я просто не дышала! Я не верю, что вы кому-то завидуете.

– И тем не менее, завидую! – сказал он и вдруг удивился, что именно здесь, перед этой незнакомой девочкой, наконец признался самому себе.

– Кому, например? – удивилась она.

– Например, Сеньке Либерману... Он играет Сирано... а это моя мечта – сыграть Сирано.

– Я думала, все актеры мечтают сыграть Гамлета... А этот... Си-ра-но, какое смешное имя – он кто?

Миша вспомнил, что гардеробщица Слава называла спектакль «Сейран де Бержерак», у нее соседа-армянина так звали, Сейран. Еще она говорила: «У меня радикулёт на нервной почке».

– Слушай, – сказал Миша, – иди ты, ради бога, домой, а? У меня из-за тебя могут быть дикие неприятности!

– Ну пожалуйста!!! – взмолилась она. – Еще полчасика, неужели вы боитесь, вы же смелый, вы – Д’Артаньян...

– Нет, я – Сирано, – сказал Миша. Он поднял с полу посох Деда Мороза, достал из кармана накладной нос, закрепил резинку на затылке. Девочка смотрела на него, не шевелясь.

– А... кто он такой?

– «Но кто же он такой? – подхватил артист ТЮЗа Михаил Мартынов, запрыгивая, как на сцену, на гору черных кожаных матов. –

Сложнейший из вопросов...

Пожалуй, астроном...

Он музыкант!

Поэт!

Он храбрый человек.

Он физик!

Он философ!

И сумасшедший! Но его отвага

Неподражаема! И он со всеми прост.

И плащ его похож на петушиный хвост,

Когда его слегка приподнимает шпага...

А нос какой! Он так отрос,

Что нужен шарабан – его не вложишь в тачку...

Бедняга по утрам прогуливает нос,

Как барыня свою собачку!»

Миша спрыгнул с горы матов и неожиданно для себя самого вдруг пустился рассказывать содержание пьесы Эдмона Ростана. Девочка сидела на мате, подняв колени к подбородку, смотрела своими янтаринами, тянула к нему острое лицо. Поглощала, пожирала... да, это был экземпляр...

А его уже закрутило. Не отдавая себе отчета, по ходу пересказа сюжета Миша вскакивал, садился, прохаживался перед нею, жонглировал посохом... Вдруг пускался играть какой-нибудь отрывок. И вообще, как всегда случалось с ним, когда речь заходила об этой роли, он все меньше обращал внимание на девочку и перед собой видел не ее, а зал... Текст роли, как и текст всей пьесы, он давно уже знал наизусть...

«– Вы что так смотрите? Вам нравится мой нос?

– Я... Что вы?..

– Может быть, мы оба

Смутили вас?

– Ошиблись, сударь, вы...

– Быть может, носик мой качается, как хобот?

– Нет, вовсе нет...

– Или как клюв совы?

– Да что вы...

– Может быть, на нем нашли вы пятна? Или, быть может, он торчит, как мощный пик?

– Я вовсе не смотрел...

– Вам, значит, неприятно осматривать мой нос?

Быть может, он велик?»

Она тянула шею вослед его прыжкам, хохотала, перекатывалась со спины на живот, вскакивала, замирала, вскрикивала, хваталась ладонями за щеки, и – застывала, когда за спиной красавца и баловня фортуны Кристиана Сирано с болью рассказывал Роксане о своей любви...

«– Что я скажу? Когда я с вами вместе,
Я отыщу десятки слов,
В которых смысл на третьем месте,
На первом – вы и на втором – любовь.
Что я скажу? Зачем вам разбираться?
Скажу, что эта ночь, и звезды, и луна,
Что это для меня всего лишь декорация,
В которой вы играете одна!
Что я скажу? Не все ли вам равно?
Слова, что говорят в подобные мгновенья,
Почти не слушают, не понимают, но
Их ощущают, как прикосновенья...»

Сейчас, по ходу сцены держа ворох пламенных кудрей где-то на обочине взгляда, он вдруг подумал, что Роксана вовсе не должна быть томной шатенкой, как ему представлялось раньше. Да, вот какой она должна быть – рыжей, худой, светящейся в ночи, как факел...

«– Я чувствую, мгновенья торопя,
Как ты дрожишь, как дрожь проходит мимо
По ветке старого жасмина...»

– Ну, подавай текст Роксаны, – бросил он вдруг на ходу: – «Я плачу... Я дрожу...»

– Как это?! – прошептала она, округляя глаза. – Когда? Что... как – сейчас?..

– Подавай текст! – крикнул он раздраженно: – «Я плачу... Я дрожу...»

– Я... п-плачу... Я дрожу...

– «И я люблю тебя».

– Кто? – ты... он – меня?!

– Вот дура! Да не я и не он! Это реплика Роксаны, я-то свои сам подаю. Давай

снова, ну! «Я плачу, я дрожу, и я люблю тебя...» Поняла?

– Поняла! – вдруг проговорила она твердо, вскочила с мата и всем телом подалась вперед, обняв себя за плечи, словно удерживая: – Я... плачу... Я дрожу... – проговорила она с отчаянием в голосе, и вправду дрожа всем телом. – И... и я люблю тебя!

– Молодец! – резко бросил он, нырнул под брусья, перевернулся, повис вниз головой... и еще минуты две продолжал читать текст таким вот манером.

...Все четвертое действие – «Осаду Арраса» – артист ТЮЗа Михаил Мартынов прочел, раскачиваясь на канате, чуть ли не под потолком. Он срывал с головы бронзовый скальп Фриды Савельевны за два рубля тридцать пять копеек, размахивал им, как белым шарфом графа де Гиша, оплакивал гибель Кристиана, заставлял Таню подавать реплики снизу. Задрав голову, не отрываясь ни на миг, она следила за малейшим его движением, чтобы не прозевать того сладостного момента, когда должна будет вступить:

«– Но как я вас нашла? Передо мною
Лежала Франция, истощена войною.
Меня вели к вам нищие поля.
И если это воля короля –
Все эти стоны, жалобы и боль
Земли, разорванной на части, –
То мой король Любви – единственный король,
Который, может быть, заслуживает власти!»

За окнами спортивного зала валил, крутил, метался густой снег. И если б кто-нибудь решил заглянуть в одно из этих окон, он увидел бы странную картину: мечущегося по залу молодого человека с накладным носом, с палкой в руках, с волосами дикого красного, не существующего в природе оттенка, и рыжую девочку, что бегала за ним по пятам, как собачонка...

– И финал... – тяжело дыша, проговорил Миша. – Действие пятое, сцена шестая... Прошло четырнадцать лет... Монастырь, где Роксана укрылась в трауре по своему Кристиану. Суббота, и, как обычно, ровно в четыре она ждет в гости Сирано, чтоб он развлек ее своей «газетой» – просто хроникой светских новостей... Она ждет его ровно в четыре, но... его убивают наемные убийцы!

– Как?! – воскликнула Таня.

– А вот так. Бревном по башке.

– И... они не увидятся?! И Роксана так и не узнает, кто писал ей письма?!

– Спокойно, узнает... Он притащится из последних сил... Он прита-ащится! – простонал Миша, опираясь на посох Деда Мороза и хромая, подволакивая ногу, достиг брусьев, припал к ним, повис на них...

«– Прощайте. Я умру.
Как это просто все! И ново и не ново.
Жизнь пронеслась, как на ветру
Случайно брошенное слово.

Бывает в жизни все, бывает даже смерть...
Но надо жить и надо сметь.
И если я прошел по спискам неизвестных,
Я не обижен... Ну, не довелось...
Я помню, как сейчас, один из ваших жестов,
Как вы рукой касаетесь волос...
Я не увижу вас. И я хочу кричать:
– Любимая, прощай! Любимая! Довольно!
Мне горло душит смерть. Уже пора кончать...»

Предсмертный голос Сирано гулко разносился в пустом спортзале загородной школы:

«...Вы дали мне любовь. Как одинокий марш,
Она звучит во мне, и, может быть, за это
Навеки будет образ ваш
Последним образом поэта...
.....

Вся жизнь прошла, как ночь, когда я был в тени...
И поцелуй любви и лавры славы
Они срывали за меня,
Как в поздний вечер памятного дня».

– Подавай: «О, как я вас люблю!»

– О, как я вас люблю! – крикнула в отчаянии девочка.

– Не ори, больше глубины, больше осознания: она потрясена открывшейся правдой, ведь это означает, что она упустила единственную в своей жизни подлинную любовь, которая столько лет была рядом! Понимаешь?! Ну, снова: «О, как я вас люблю!»

– О, как я вас люблю!

Сирано погибал... Ему оставалось жить считанные минуты. Он шатался, падал на одно колено, с трудом поднимался...

«– Но если смерть, но если
Уж умирать, так умирать не в кресле!
Нет! Шпагу наголо! Я в кресле не останусь!
Вы думаете, я сошел с ума?
Глядите! Смерть мне смотрит на нос...
Смотри, безногая, сама!
Пришли мои враги. Позвольте вам представить!
Они мне дороги, как память.
Ложь! Подлость! Зависть!.. Лицемерье!..

– в дело опять пошел посох Деда Мороза, и сколько смертной ярости и достоинства было в каждом выпаде задыхающегося Сирано:

– Ну, кто еще там? Я не трус!
Я не сдаюсь, по крайней мере.
Я умираю, но дерусь!»

Он качнулся, шпага выпала из руки и покатилась по полу...

«– Все кончено. Но я не кончил эту...
Мою субботнюю газету.
Нас, кажется, прервало что-то...
...Итак,
Я кончил пятницей... В субботу
Убит... поэт... де Бер-же-рак...»

Миша удачно подгадал к мату, упал на спину и закрыл глаза.

Тут случилось непредвиденное.

Девочка вскрикнула, сотряслась в страшном горестном рыдании и повалилась на Мишину грудь, колотя по ней кулаками, исступленно повторяя: «Не умирай, любимый мой, не умирай!»

– Ты что, спятила?! – Миша испуганно вскочил, схватил ее за плечо; она тряслась и икала. – Таня, Танечка!.. Ну, успокойся... Слушай, это же пьеса, ну!..

Она выла безутешно. Мотала головой. Оплакивала поэта...

Вот тут, подумал артист Мартынов, на кульминации действия и врываются обычно суровые родители, чтобы отомстить за поруганную дочь.

Храбрец Сирано де Бержерак трусил по настоящему.

Минут через десять она все же стихла – видно, устала. Сидела, как воробей на ветке, зябла, шмыгала носом.

– Ну, вот что, мать, – решительно проговорил Миша. – Ты, конечно, наш человек, но прошу тебя, как брата: уйди, а?

Она подняла к нему истерзанное лицо:

– А можно... можно я...

– Нет, нельзя! – заорал он. – Хватит! Пошла отсюда, ясно?!

Походил туда-сюда, строго хмурясь и поглядывая на нее, размышляя. Потом сжалился все же, достал автобусный проездной за прошлый месяц и стерженек шариковой ручки, который на всякий случай всегда таскал в заднем кармане джинсов.

– Ладно... Вот телефон театра... Там у нас студия есть для таких безумцев, как ты. Скажешь – от Михаила Борисовича Мартынова. Поняла?

– Поняла... – хлюпая красным носом, прошептала девочка. Все-таки у этих рыжих при малейшей слезе физиономии становятся непотребно красными. – Спасибо, Михаил Борисович!

– Ну давай, иди уже, иди...

Когда она вышла наконец, Миша повалился навзничь, закурил... Его трясло. Да нет, дело было не в девочке, а в том, что он сегодня, сейчас сыграл Сирано... сыграл почти так, как хотел. И благодарный зритель принял, черт побери, его

трактовку образа!

Он еще думал об этом, улыбаясь, бормоча тихонько: «Как в серебро луны оправлен сумрак синий!..» – пока «сумрак синий» в огромных окнах спортзала не подернулся рассветным пеплом.

В конце концов он, видимо, заснул... потому что, когда снова открыл глаза, ломоть солнца рыжим седлом лежал на кожаной спине «козла», а рядом с пузатой думкой раскинулась веером четверка дружных двадцаток, которые неизвестная, но симпатичная Людмила оставила, жалея будить артиста.

Миша поднялся, потер ладонями лицо, потянулся, спрятал деньги в нагрудный карман рубашки и, минуя вестибюль под транспарантом: «С Новым 1985-м годом!», покинул здание школы.

...Он шел зимним лесом к электричке, сбивая снег с кустов посохом Деда Мороза, громко выкрикивая дурацкие, не приготившиеся накануне прибаутки и чувствуя, что вчерашний вечер и минувшая ночь, и эти грузные от снега ели, и весь ослепший от звонкого солнца лес сплетаются во что-то неразрывно прекрасное, в какую-то огромную, огромную, захлеб, жизнь.

С вершины богатырской ели в полном безмолвии перед его лицом заструилось перо неизвестной птицы, ввинчиваясь в толщу пронизанного солнцем воздуха, – так грузило пронизает толщу прозрачной воды, так скользящий жест милой руки пронизает толщу времени...

Во всяком случае, и двадцать лет спустя он помнил, как трепетало это перо белым лезвием, планировало медленно и совершенно и наконец вонзилось в сугроб, словно старинный писатель, завершив новеллу, оставил перо в снежной чернильнице.

Июль 2005

Я и ты под персиковыми облаками

*И взяли мы щенка
И рассудили просто,
Что тут наверняка
По крови благородство.*

*И в том, что так сужу
Про Божье творенье,
Не удаль нахожу,
Но удовлетворенье.*

Дмитрий Сухарев

Это история одной любви, сплошной бесконечной любви, не требующей доказательств. И главное – любви неослабной, не тяготящейся однообразием дней, наоборот, стремящейся к тому, чтобы однообразие это длилось вечно.

Он – прототип одного из героев моего романа. Собственно, он и есть герой моего романа, пожалуй, единственный, кому незачем было менять имя, характер и

общественный статус, которого я перенесла из жизни целиком на страницы, не смущаясь и не извиняясь за свою авторскую бесцеремонность. В этом нет ни капли пренебрежения, я вообще очень серьезно к нему отношусь. Более серьезно, чем ко многим людям. Потому что он – личность, как принято говорить в таких случаях.

Да, он – собака. Небольшой мохнатый песик породы «тибетский терьер», как уверяет наш ветеринар Эдик.

Почему-то я всегда с гордостью подчеркиваю его породу, о которой, в сущности, ничего не знаю, да и знать не желаю: наш семейный демократизм равно широко простирается по всем направлениям. На нацию нам плевать, были бы душевные качества подходящие.

Попал он к нам случайно, по недоразумению, как это всегда бывает в случаях особо судьбоносных.

В то время мы жили в небольшом поселении в центре арабского города Рамалла, в асбестовом вагоне на сваях, посреди Самарии. Весна в том году после необычно снежной зимы никак не могла набрать силу, дули змеинные ветры, особенно ледяные над нашей голой горой.

Щенка притащила соседская девочка, привезла из Иерусалима за пазухой. В семье ее учительницы оценилась сука, и моя шестилетняя дочь заочно, не спрашивая у взрослых разрешения, выклянчила «такусенького щеночка». В автобусе он скулил, дрожал от страха, не зная, что едет прямехонько в родную семью. Родная семья поначалу тоже не пришла в восторг от пополнения.

Мы втроем стояли у нашего вагончика, на жалящем ветру, дочь-самовольница скулила, и в тон ей из-за отворотов куртки соседской девочки поскуливало что-то копошащееся – непрошенный и ненужный подарок.

Я велела дочери проваливать вместе со своим незаконным приобретением и пристраивать его куда хочет и сможет.

Тогда соседка вытащила наконец этого типа из-за пазухи.

И я пропала.

Щенок смотрел на меня из-под черного лохматого уха бешеным глазом казачьего есаула. Я вдруг ощутила хрупкую но отчаянную власть над собой этого дрожащего на ветру одинокого существа. Взяла его на ладонь, он куснул меня за палец, отстаивая независимость позиции, придержал ухваченное в зубах, как бы раздумывая – что делать с этим добром, к чему приспособить...и сразу же принялся деятельнолизировать, – «да, я строг, как видишь, но сердцем мягок»...

Его называли Конрад...– пояснила девочка. Ну, мы по ихнему не приучены, – сказала я. – Мы по-простому: Кондрат. Кондрашка. Недели через две, когда все мы уже успели вусмерть в него влюбиться, он тяжело заболел. Лежал, маленький и горячий, уронив голову на лапы, исхудал, совсем сошел на нет, остались только хвост и лохматая башка...Ева плакала... Да и мы – были минуты – совсем теряли надежду. Завернув в одеяло, мы возили его на автобусе в Иерусалим, к ветеринару. Тот ставил ему капельницу и, покорно лежа на боку, щенок смотрел мимо меня сухим взглядом, каким смотрят вдаль в степи или в пустыне.

Но судьба есть судьба: он выздоровел. Принялся жрать все подряд с чудовищным аппетитом и месяца за два превратился в небольшую мохнатую свинью, дерущуюся со всеми домашними.

Стоял жаркий май, днем палило солнце, к вечеру трава вокруг закипала невидимой хоральной жизнью – что-то тренькало, звенело, шипело, жужжало,

зудело и все это страшно интриговало Кондрата. Он гонял кругами вокруг вагона, молниеносно бросаясь в траву, отскакивая, рыча от восторга, поминутно пропадая из поля зрения, и тогда над холмами Самарии неслись, пугая пастухов арабов, наши призывные вопли...

Так что детство его прошло на воле, среди долин и холмов, а дымы бедуинских костров из собачьей души, как ни старайся, не выветришь.

Но скоро мы променяли цыганскую жизнь в кибитке на мещанский удел: купили обычную квартиру в городке под Иерусалимом. Судьба вознесла нашего пса на немыслимую высоту – последний этаж, да и дом на самой вершине перевала. Войдя в пустую квартиру, первым делом мы поставили стул к огромному – во всю стену – венецианскому окну. Кондрат немедленно вскочил на него, встал на задние лапы, передними оперся о подоконник и залаял от ужаса – с такой точки обзора он землю еще не видел.

С тех пор прошло восемь лет. Стул этот и сейчас называется «капитанским мостиком», а сам Капитан Конрад проводит на нем изрядно свободного времени, бранясь на пробегающих по своим делам собак и сторожа приближение автобуса, в котором едет кто-то из домашних. Как матрос колумбова корабля он вглядывается вдаль, на Масличную гору, поросшую старым Гефсиманским садом, а завидя кого-то из близких, принимается бешено молотить хвостом, как сигнальщик – флажками, словно открыл, наконец, открыл свою Америку.

Наверное, мне надо его описать. Ничего особенного этот пес из себя не представляет. Такой себе шерстистый господинчик некрупной комплекции, скорее, белый, с черными свисающими ушами, аккуратно разделенными белым пробором, что делает его похожим на степенного приказчика большого магазина дамского белья. На спине тоже есть несколько больших черных пятен, хвост белый, энергичный, ответственный за все движения души. Напоминает султан на кирасе, закинут на спину полукольцом и наготове для самых непредвиденных нужд, как солдатская скатка. Вот, собственно, и весь Кондрат. Не Бог вещь что, но длинная взъерошенная морда и черные глаза, саркастически глядящие сквозь лохмы казацкого чуба, изумительно человекоподобны.

Зимами он лохмат и неприбран, как художник – абстракционист, поскольку не допускает всяких дамских глупостей, вроде расчесывания шерсти. С наступлением жары – кардинально меняет облик. Я сама стригу его со страшным риском поссориться навек. Он огрызается, рвется убежать, вертится, пытаюсь цапнуть меня за руку для острастки. Я с ножницами прыгаю вокруг него, как пикадор вокруг разъяренного быка, отхватывая то тут, то там спутанный клочок. После окончания экзекуции он превращается в совсем уж несерьезную собачонку с лохматой головой и юрким нежно-шелковистым тельцем. Не жених, нет. Даже и описать невозможно – кто это такой. Однако опасность подцепить клеща резко снижается. Да и жара не так допекает. А красота – она ведь дело наживное...

Тем более, что главное, оно известно, – красота души.

Восемь лет я наблюдаю эту независимую и склочную натуру и – не скрою – в иные моменты судьбы очень бы хотела позаимствовать кое-что из характера моего пса.

Во-первых, он неподкупен. Чужого ему не надо, а свое не отдаст никому.

Наш Кондрат вообще – мужичок имущественный. Любит, чтоб под его мохнатым боком «имелась вещь» – старый носок, ношенный Евин свитер,

нуждающийся в стирке, или кухонный фартук, который я уже несколько месяцев считала запропавшимся, а он вон где – у Кондрата под брюхом. Сторож своему хозяйству он лютый. Не только забрать, а и мимо пройти не советую. Из самых глубин собачьего естества вы вдруг слышите тихий опасный рокот, похожий на слабое урчание грозы или хриплый гул далекой конницы.

Впрочем, полное отсутствие врагов, покусителей, да просто – зрителей, его расхолаживает. И если у него настроение сразиться с кем-нибудь и показать неважно кому кузькину мать, он прихватывает зубами что-то из своего хозяйства, заявляется с угрожающим видом туда, где вы сидите, ни о чем не подозревая и мирно попивая чай или что там еще (так, пружиня на носках сапожек и зыряка по сторонам, ковбой заходит в незнакомый паб) и выкладывает добычу прямо вам под ноги. Морда при этом уже разбойничья и провокационная: – а ну, давай, сунься!

И правда, если вам придет в голову подразнить его – например, сделать вид, что протягиваете руку за его кровным, трудом и потом нажитым имуществом – ох, какой шквал проклятий, угроз, бандитских наскоков... При этом хвост его молотит бешенную жигу, глаза горят, мохнатое мускулистое тельце извивается, грудью припадая к полу, пружинно вздымается зад. И так до изнеможения, до радостно оскаленной, рывками дышащей пасти, застывшего хохота на мохнатой физии... Он счастлив, – боевой конь, тигр, бешенный арап, зверюга проклятая, – все это, как вы понимаете, доводят до его сведения потом, когда, распростершись мохнатым ковриком, он бессильно валяется под стулом. И это поистине блаженные минуты нашего семейного счастья...

Однако нельзя сказать, что Кондрат счастлив в личной жизни. Как-то так получилось, что он холост. Мы поначалу истово искали ему возлюбленную, давали брачные объявления... все тщетно. Потом уж вроде подбирались какие-то партии, не скажу что выгодные или достойные по положению в обществе, – так, мезальянс, все-таки.

У него, впрочем, есть некий заменитель супружеских отношений. Я даже не знаю, как это по деликатней сказать: это два больших домашних тапочка, сделанных в виде плюшевых зайцев, с розовыми пошлыми мордами и белыми ушами.

Как праотец наш Авраам, Кондрат имеет двух жен... Интересно строятся эти отношения – как в гареме, у султана с наложницами: когда на него находит интимное настроение, весь пыл души и чресел он посвящает только одной из своих плюшевых гурий, не обращая внимания на происходящее вокруг. При этом – раскован, упоен, влюблен, бесстыден, наконец, как восточный сатрап...

Удовлетворив любовный жар, он разом из галантного поэта-воздыхателя превращается в полную противоположность: в такого слободского хулигана, который, сильно выпив, возвращается домой из кабака. Что нужно такому мужику? Поучить жену, конечно. Крепко поучить ее, дуру. И вот, Кондрат хватается одну из своих возлюбленных зубами за заячьи уши и начинает нещадно трепать, совсем уж впадая в пьяный раж, подвывая и ухая, так что, от барышни лишь клочки летят по закоулочкам.

Мы пытаемся урезонить его разными осуждающими возгласами, вроде: «Сударь, вы почто дамочку обижаете?»

Иногда приходится даже отнимать у него несчастную, вот как соседи отбивают у слободского хулигана его воющую простоволосую бабу...

Но бывают и у него высокие минуты блаженного семейного покоя. И точно, как султан в гареме возлежит на подушках, покуривая кальян и глядя на своих танцующих наложниц – а вокруг возлежат жены, старшие, младшие и промежуточные...так же и Кондрат, подгребет к себе обеих, положит свою продувную морду между ними на какой-нибудь украденный им носок, и тихо дремлет, бестия...Хотела бы я в эти минуты заглянуть в его мечты...

*** *** ***

Утро начинается с того, что учуяв вялое пробуждение мизинца на вашей левой ноге, некто лохматый и нахрапистый вспрыгивает на постель и доброжелательно но твердо утверждает передними лапами в вашу грудь. Вы, конечно, вольны зажмурить глаза, не дышать, не двигаться, словом прибегнуть ко всем этим дешевым трюкам – все напрасно: пробил час, а именно – шесть склянок – когда спать дальше вам просто не позволят – будут лезть мокрым носом в ваше лицо, старательно его облизывая и норовя целовать – тьфу! – прямо в губы.

Можно еще потянуть время, умиротворяя этого типа почесыванием брюха – он разваливается рядом, милостиво подставляя телеса для ласк, но как только ваша засыпающая рука вяло откинется, требовательной лапой он призовет вас к порядку. Так что дешевле уж не тянуть, а сразу выйти на прогулку.

И вы поднимаетесь и лезете в джинсы, путаясь в штанинах, с трудом разлепляя глаза и не попадая ногой в кроссовки, тем более, что один кроссовок (одну кроссовку?) этот негодяй куда-то уволок и яростно треплет, рыча и скалясь в экстазе.

А на улице вообще-то дождь, туман, хмарь и мразь. Ваш ржавый позвоночник отказывается держать спину, ноги деревянные, руки ватные, глаза не открываются. Вы и так старый больной человек, а эта собачья сволочь еще цинично насмехается, продлевая удовольствие ожидания прогулки. Скачет по комнатам с одной из двух своих меховых блядей в зубах и азартно ее мутузит. Уже стоя перед дверью в куртке, вы призывно позвякиваете ошейником и поводком.

Так ты не идешь гулять, сволочь собачья, паскудник, проходимец, холера лохматая!? Вот я сама уйду, все, до свиданья, я пошла! Этот трюк безотказен. При щелчке проворачиваемого в замке ключа, мой пес немедленно бросает возлюбленную валяться где попало и мчится ко мне – подставлять шею под ненавистный ошейник.

Он сволакивает меня с четвертого этажа, и вот уже мы несемся над обрывом, он – хрипя и натягивая поводок, я – поминая страшную казнь колесованием – несемся вдоль каких-то кустов и гнущихся под ветром сосен, мимо смотровой площадки, домов, заборов ...Мчатся тучи, выются тучи, дождь припускает уже в полную свою волю, и я ругаюсь вслух и вслух же – благо, никого вокруг нет – спрашиваю себя – за что мне это ежеутреннее наказание?

Есть у него постыдная страсть – обожает носки, желательно, «второй свежести». Отплясывая вокруг вернувшегося домой отца семейства он ждет, подстерегает это усталое движение скатывания, стаскивания с ноги носка. Вот оно, это охотничье мгновение: хищный бросок!! перехват жертвы!! С носком в зубах он скрывается под стулом или столом. Начинаются долгие и сложные отношения с добычей. С полчаса, держа между лапами трофей, он молча зловеще выглядывает из-под казачьего чуба. Внимания требует, ревности, зависти, попыток напасть и ограбить. Иногда мы не реагируем на его рокошующие провокации, но чаще – уж

больно забавен, бандитка лохматый – вступаем в навязанные им отношения. И тогда-то он показывает всем кузькину мать! Вот тогда он – имущественник, защитник добычи, корсар, батька атаман!

Хвост при этом ходит ходуном. Он жаждет сразиться.

Тут мы придумываем разные мизансцены. Димка вкрадчиво тянет руку к скомканной добыче...Боря говорит – красавчик, угостите носочком!

На эти наглые притязания он отвечает яростным и даже истеричным отпором.

Но чаще, чем игры, он требует любви. Немедленного ее подтверждения. Ласкательные клички, которыми я его называю, зависят от его поведения в тот момент и от моего настроения. Все превосходные степени пущены в ход: собачка моя первостатейная, моя высоконравственная животиная, мой грандиозный пес, невероятная моя псина, легендарный маршал Кондрашук, приснопамятный собачий гражданин, присяжный поверенный Кондратенков...и т.д.

Когда я заговариваю с ним, он склоняет голову набок, наставляет уши и прислушивается – что там она несет, эта женщина, есть ли хоть ничтожная польза в ее ахинее. Разумеется, он понимает все – интонации, намерения, много разнообразных слов.

Ко многим из них относится подозрительно. Взять, например, богатое слово СОБАКА. Известно, что это такое. Это он сам в разные минуты жизни – теплые, родственные, счастливые и нежные, например – «Собака, я преклоняюсь перед вашим умом!» или «Позвольте же по-человечески обнять вас, собака!», или в драматические моменты выяснения отношений: «Ты зачем это сделал, собака подлючая, а?!»

Но у, в общем-то, родного слова СОБАКА есть еще другой, отчужденный смысл – когда им определяют других. Например – «Нет, туда мы не пойдем, ты же знаешь, там гуляют БОЛЬШИЕ СОБАКИ».

Вообще, мне интересно – как он разбирается со всем многообразием своих имен, которых у него много, как у египетского божества. С другой стороны, и у меня две клички – МАМА и ДИНА.

И на обе я отзываюсь.

Но есть слова, исполненные могучего, сакрального смысла, понятия, у которых масса оттенков: ГУЛЯТЬ и КУШАТЬ.

Узнает он их еще до произнесения, угадывает по выражению лица, что вот сейчас...вот-вот...Хвост ликует, трепещет, бьется...

Ну что? – строго спрашиваю я, делая вид, что сержусь и ругать сейчас стану нещадно, что ни о какой прогулке и речи быть не может. Но его не обманешь. Страстно, напряженно он уставится на губы, окаменел, ждет.. А хвост неистовствует. Что ж, ты, небось, думаешь, подлец, бесстыжая твоя рожа, что вот я сейчас все брошу... – грозно выкатив глаза, рычу я, но хвост бьется, бьется, глаза горят...– и выйду с тобой...ГУ?!...ГУ?!...(чудовищное напряжение, нос трепещет) Гу-у-у?!...(хвост – пропеллер) ГУ-ЛЯ-А-АТЬ!? Ох, какой прыжок, какое пружинное глубинное ликование, с каким бешеным восторгом он хватает любую подвернувшуюся вещь – чей-то тапочек, туфель, носок – и мчится по квартире с напором, достойным мустанга в прерии.

Когда неподалеку какая-нибудь сучка начинает течь, Кондрат безумеет, рвется прочь, пытается расшибить дверь, стонет, коварно затаившись, ждет у дверей, валяясь якобы без всяких намерений...Но стоит входящему или выходящему

зазеваться в дверях, пес, угрем оббивая ноги, прыскает вниз по лестнице и – ищи свищи героя-любовника! Можно конечно, броситься за ним, взывая к его совести и чести. Можно даже исторгнуть из груди сдавленный вопль – он, пожалуй, притормозит на лестничной площадке, оглянется на тебя с отчужденным видом, морда при этом имеет выражение: «С каких это пор мы с вами на “ты”?» ...и бросится неумолимо прочь. Бежит по следу благоуханной суки с одержимостью безумного корсара.

Возвращается в зависимости от накала страсти – через час или два. Но несколько раз пропадал часа на три-четыре, ввергая всю семью в панику...

Возвращается так же молча крадучись, так же извиваясь всем телом, но с совершенно другим выражением на морде: виноват, виноват! Вот такой я гад, что поделаешь!

Одного мы его гулять не отпускаем. Во-первых, все время приходится помнить о злодее с машиной, ловце собачьих душ, во-вторых, Кондрату, с его поистине собачьим характером недолго и в тюрьму угодить. Бывали случаи. Например, пес моего приятеля, Шони, настоящий рецидивист – трижды сидел, и все за дело.

Помнится, впервые о псах – зеках я услышала от писательницы Миры Блинковой. Узнав, что мы обзавелись четвероногим ребенком, Мира сказала:

– У нас тоже много лет была собака, пойнтер, – милый ласковый пес... Все понимал. Буквально: понимал человеческую речь, малейшие ее оттенки, сложнейшие интонации. Однажды, когда у нас сидели гости, я кому-то из них сказала, даже не глядя на собаку: – Наш Рики – чудесный, деликатнейший пес... – он подошел и поцеловал мне руку... Потом его посадили – по ложному доносу... Но, поскольку у Нины были связи, она добилась свиданий и передач. За хорошее поведение его выпустили на волю досрочно... Что вы так странно смотрите на меня?...

– Простите, Мира, – осторожно подбирая слова, проговорила я. – Очевидно, я задумалась и потеряла нить разговора. О ком это вы рассказывали, кого посадили?

– Рики, нашего кобелька. Я с состраданием смотрела на бедную женщину.

– Ах, да, вы еще не знаете, – сказала та спокойно, – что Израиль отличается от прочих стран двумя институциями – кибуцами и собачьими тюрьмами...

– Вы шутите! – воскликнула я. Да, да, любая сволочь может засадить в тюрьму абсолютно порядочного пса. Достаточно написать заявление в полицию. В случае с нашим Рики: Нина возвращалась с ним с прогулки, и в лифт вошел сосед, какой-то говенный менеджер говенной страховой компании. Рики, в знак дружеского расположения, поднялся на задние лапы, а передние положил тому на плечи и облизал его говенную физиономию. Так этот болван от страха чуть в штаны не наделал. В результате – донос на честного, милого интеллигентного пса, и приговор – тюремная решетка. – Но ведь это произвол! – Конечно, – горько подтвердила Мира, – а разве вы еще не поняли, что приехали в страну, где царит страшный и повсеместный произвол? Я представила себе этот разговор на эту конкретно тему где-нибудь на московской кухне в советское время, годах эдак...да в каких угодно годах, даже и в недавних.

Когда Кондрат хочет гулять или есть – то есть, обуреваем какой-нибудь страшной надобностью, он нахрапист, бесстыден, прямолинеен и дышит бурно, как герой-любовник. В народе про таких говорят: – «Ну, этот завсегда своего добьется!»

При этом он дьявольски умен, хитер, как отец-инквизитор и наблюдателен. Если б он мог говорить, я убеждена, что лучшего собеседника мне не найти. К тому же он обладает немалым житейским опытом. Например, знает, что если с самого утра я ни с того ни с сего становлюсь мыть посуду, это верный признак, что бабушка – БАБУЛЯ! – уже выехала откуда-то оттуда, где таинственно обитает, когда исчезает из нашего дома. Это значит, что пора вспрыгивать на капитанский мостик и ждать, когда автобус завернет на нашу улицу. И он стоит на задних лапах, передними опершись о подоконник и – ждет. И вот его хвост оживает, вначале приветливо помахивает, но по мере приближения БАБУЛИ к подъезду, увеличивает обороты. Несколько секунд он еще стоит, весь дрожа от радостного напряжения, дожидаясь, когда его главная приятельница подойдет к парадному, вот она скрылась из виду...тогда он валится со стула боком – так пловцы уходят с вышки в воду – мчится к двери и с размаху колотится в нее лапами, всем телом, оглушительно причитая и пристанывая: – Ну!! Ну!! Ну же!! Сколько можно ждать!! Она поднимается, поднимается, вот ее шаги!! Открывайте же, гады, убийцы, тюремщики!!

Вы скажете – нетрудно любить человека, который всегда принесет то котлетку, то кусок вчерашнего пирога, а то и куриную ножку. Да не в этом же дело, уверяю вас! И эти стоны преданной любви, и плач, и чуткое вскакивание на стул при шуме подъезжающего автобуса...не из-за куриной же ноги. Нет, нет. Нет. А что же? – спросите вы. И я отвечу: душевная приязнь. Иначе как объяснить ошалелые прыжки Кондрата и визг при редких появлениях нашего друга Мишки Моргенштерна? Уж Мишка-то никаких котлет не приносит, Мишка наоборот – сам отнимет у собаки последнюю котлету под рюмочку спиртного. Но Мишка стоял у колыбели этого наглого пса, трепал его по загривку, целовал прямо в морду, а такие минуты не забываются. И вновь скажу я вам – душевная приязнь, вот что это, и четкое различие людей на аристократов духа, то есть собачников, и прочую шушеру. А Мишка-то, Моргенштерн, он самый что ни на есть аристократ духа. За ним по всей его жизни трусили стаи собак. У него и сейчас живут три пса – Маня, Бяка и Арчик. Представляю, что чувствует Кондрат, втягивая своим трепещущим кожаным носом сладостные флюиды запахов, исходящих от Мишкиной одежды, рук, бороды и усов...

В экстремальные моменты семейной жизни он куда-то девается, прячется, тушует. Я в этом усматриваю особую собачью деликатность. ...Взять недавнюю воробьиную ночь. Часу во втором Боря наведалься в туалет, и когда собирался выйти, обнаружил, что замок сломан. Сначала тихонько пытался что-то там крутить, боясь разбудить всю семью. Я проснулась от назойливого звука все время проворачивающегося ключа, как будто кто-то пытался лезть в квартиру. Потом поняла, вскочила и мы – шепотом переговариваясь по обе стороны двери, – пытались столовым ножом отжать заклинившуюся «собачку» замка. Проснулись дети. Сначала вышла из своей комнаты хмурая заспанная Ева в пижаме, сказала – да чего там церемониться! Папа, заберись с ногами на унитаз, я выбью дверь.

Мы все-таки склонялись к мирному решению вопроса. Потом проснулся Димка и, как всегда, деятельно стал мешать. Мы втроем – я и дети толпились в коридоре, папа страдал запертый. Кондрата вроде как не было видно...Наконец, минут через двадцать замок был побежден, собачка выпала под нажимом напильника и отец был освобожден из туалетного плена.

И вот, когда уже все улеглись, на нашу кровать вдруг вспрыгнул Кондрат и с непередаваемым радостным пылом, с каким обычно он встречает нас после отъезда, бросился целовать Борю. Нежность, счастье и восторг никак не давали ему успокоиться...Очевидно, он понял, что Боря попал в какую-то передрагу, если вся семья крутилась возле двери, за которой томился хозяин. Но вот, наконец, кончилось заточение, и он приветствует освобожденного даже более пылко, чем если б тот откуда-нибудь приехал.

Так встречают отца, отбывшего тюремный срок.

В его по сути героическом характере имеется некая постыдная прореха. Неловко говорить, но придется. Я имею ввиду его мистический страх перед салютом. Да-да, праздничный салют – вот слабое место в душе бесстрашного пса.

Это стыдно. Ой, как стыдно – бояться этих, взрывающихся в небе разноцветных фонтанов и брызг, этих искр по всему небу...Но он ничего с собой поделать не может. Так бывает – у очень храброго человека, например, бывает патологическая боязнь высоты.

Он дрожит всем телом и нигде не находит себе места. При очередном раскатистом взрыве он вздрагивает, прижимает уши и жалко трусит, поджав хвост, из одной комнаты в другую... Забивается в туалет... Да и для нас – какая уж там радость и веселье, какое там ликование, когда любимое существо абсолютно, как говорят китайцы – теряет лицо, трепещет, мечется в безумии по квартире, то запрыгивая в ванну, то залезая под кресла...Сердце разрывается от жалости... Я хватаю его на руки. Обнимаю, прижимаю к себе, глажу, бормочу ласково – ну что ты, милый, это только салют, это ничего, ничего... – он в отчаянии вырывается, продолжая трястись мелкой дрожью, мечется по дому и ищет пятый угол.

(Я упоминаю о его слабостях отнюдь не для того, чтобы опорочить одно из самых бескорыстных и благородных существ, когда-либо встретившихся на моем пути, но если уж говорить, то говорить начистоту. Справедливость алчет правды).

Еще одно занятие, чрезвычайно ответственное – копать. Раскапывать передними лапами: одеяло, брошенный на кресло свитер, любую тряпку вообще, а если ее нет, то яростно раскапывается пол. При этом передние лапы двигаются, как ноги, танцующего чарльстон. Закончив разгребать таким образом умозрительную яму в полу, он начинает медленно и задумчиво вращаться вокруг собственного хвоста, пока не укладывается на «раскопанное» место.

Стоит ли говорить, что в его табели о рангах всяк домашний стоит на своем, только ему принадлежащем месте. Но и свои особые отношения у Кондрата с гостями, которых он, кажется подразделяет на виды, семейства, группы и подгруппы. К тому же, он явно делит свою жизнь на служебную и частную. Когда, первостатейно обложив оглушительным лаем очередного гостя, то есть, проявив положенное представительство, он смиряется с временным присутствием в доме чужого, он как бы снимает мундир, расслабляет галстук и облачается в домашнюю куртку. Тем более, что гости перешли в кухню и сидят за столом, над которым, как водоросли, колышутся густые запахи мяса, колбас, салатов и, кстати, квашеной капуста, которой Кондрат тоже не прочь отдать дань уважения.

Тут он ведет себя в точности, как хитрый ребенок, отлично понимающий, что послабления следует ждать совсем не от родителей, а от душки-гостя.

Тактика проста. Вначале он садится у ног приступившего к трапезе голодного гостя и минуты три вообще не дает о себе знать. Этюд под условным названием «а я

тут по делу пробежал, дай, думаю взгляну – что дают...» Когда гость заморил самого назойливого первого червячка и расселся поудобнее, Кондрат приподнимается, присаживается поближе, складывает физиономию в умильно-скромное любование и, склонив на бок башку, несколько минут сидит довольно кротко с выражением, скорее приглашающим – «Угостите собачку», чем требовательным.

Если гость не дурак и слабину не дает, Кондрат, сидя на заднице, протягивает лапу и треплет гостя по коленке – дай, мол, дядя, не жадись... Как правило, этот, пугающе человеческий жест, приводит гостя в смятение.

Чего тебе, песик? – спрашивает он, опасливо косясь на Кондрата, настойчиво глядящего прямо в глаза нахалу, так вольно сидящему за семейным столом. – Дать ему кусочек? – неуверенно спрашивает меня гость. Ни в коем случае! – говорю я. – Кондрат! А ну, отвали! Щас получишь раза! Немедленно отстань от Саши (Иры, Маши, Игоря)! Несколько секунд Кондрат молча переживает, провожая тяжелым взглядом каждый кусок, который гость отправляет в рот. На морде выражение сардоническое и высокомерное, что-то вроде: «А харя твоя не треснет?» Потом, словно нехотя, поднимается опять на задние лапы и на этот раз уже дотягивается передней лапой до руки с вилкой. И требовательно треплет эту руку. На этот раз подтекст: «Не зарывайся, дядя! Не кусочничай. Угости честную собаку».

Тут его пора нещадно гнать в три шеи, пока не наступил следующий этап: хамское короткое взлаивание абсолютно нецензурного содержания.

Если же и этот этап упущен, остается только одно: накормить его до отвала, к чертовой матери.

За ночь он, как отъявленный ловелас, успевает поваляться на всех постелях в доме. Начинает с Евы. Она ложится раньше всех, потому как уходит раньше всех в школу. Зайдешь к ней в комнату перед сном – Кондрат сонно поднимает голову с ее кровати: ну, чего ты беспокоишься, я же здесь. Как только я укладываюсь под одеяло, он вскакивает ко мне на постель и скромно примащивается в ногах, якобы, – я тут с краю, незаметно. Я вас не обременю.

Уже часа через полтора я просыпаюсь от храпа где-то около моего плеча. Точно: Кондрат покинул свое кухаркино место и развалился рядом, прямо в барской опочивальне, лохматая башка на подушке, рядом с моей, и храпит, как намаившийся за день грузчик. Когда я его спихиваю, он огрызается и, ворча, перебирается к Борису. Но тот спит беспокойно, ворочается, просыпается то и дело, встает пить и вообще – пассажир беспокойный. Тогда раздраженный невыспавшийся Кондрат бежит к Димке. Это его последнее рассветное прибежище. Во-первых, Димка спит как убитый, на нем можно топтаться, плясать, храпеть ему в оба уха, бесцеремонно спихивать с места. Во-вторых, у него широченная тахта.

Утром можно видеть такую картину: раскинувшись в одинаковых позах эти двое дрыхнут, как пожарники, всю ночь таскавшие ведра с водой.

Вообще, поразительны его позы, в которых он копирует хозяев. В жестах привычках и манерах он очеловечился до безобразия. Например, полулежит на диване, в совершенно человеческой позе, опершись спиной на подушки, передние лапы расслабленно покоятся на брюхе и, кажется, будь на них пальцы, он бы ими почесывал поросшую нежной белой шерстью, грудку. Если б мне впервые показали такого где-нибудь в чужом доме, я бы испугалась. Мне и сейчас иногда становится не по себе, когда мы с ним одни в квартире и он вдруг подходит к рабочему моему

креслу, где я сижу за компьютером, и приподнявшись на задних лапах кладет переднюю мне на колено.

Что, старичок..? – рассеянно спрашиваю я, не отрывая взгляда от экрана, зная, что он накормлен и нагулян, то есть не одержим в данный момент никакой срочной нуждой. Он молчит, не снимая лапы с моего колена. Я не глядя, опускаю руку и треплю его по лохматой мягкой башке, глажу, бормочу что-то нежное.

Наконец, оборачиваюсь.

Он смотрит на меня ожидающим, внимательным, абсолютно человеческим взглядом. Сейчас что-то скажет, неотвратно понимаю я, заглядывая в эти пронизательные глаза. И в тот момент, когда холодок продирает меня по коже, он вдруг отводит взгляд и уютным, тоже – человечьим движением, мягко кладет мне голову на колено...Ему ничего не нужно. Он пришел напомнить о своей любви и потребовать подтверждения моей. И я подтверждаю: беру его, как ребенка, на колени, объясняю страстным шопотом, что он самый высоконравственный, ослепительный, мудрейший и качественно недостижимый пес. И некоторое время он, как ребенок, сидит у меня на коленях, задумчиво глядя на наше с ним туманное отражение в экране компьютера.

У нас, конечно, и враги имеются. Например, черный дог в доме напротив. Этот гладкий молодчик полагает себя властелином мира. Конечно, у него есть балкон, с высоты которого он обзореает местность и делает вид, что контролирует ее. На самом деле, никто, конечно, не обличал его такими полномочиями. Всем известно, кто хозяин данной территории. Кондрат, разумеется. Капитан Конрад, лохматая доблесть, ни у кого сомнений не вызывающая. И мы не позволим всяким там наглецам демонстрировать...то есть, регулярно не позволяем часов с пяти утра, когда того выпускают на балкон – проветриться и он, возвышаясь над перилами, оглашает окрестности первым предупредительным угрожающим рыком.

Ну это уж дудки! Этого ему уж никто из порядочных особ спускать не намерен! Кондрат взрывается ответной утроенной яростью – непонятно – откуда такая громогласность в этом небольшом, в сущности, субъекте... Повторяю – в пять утра.

– Кондрат!! – я шлю ему вдогонку сонный вопль, исполненный отчаяния.

Нас выселят, – бормочет Борис, просыпаясь, – в конце концов соседи позвонят в полицию, и будут правы. Спящий в большой комнате Димка, подбирает с пола тапок и, рискуя попасть в окно, швыряет в Кондрата.

Все тщетно. Разве станет отважный обращать внимание на летящую в его сторону гранату? Он стоит на задних лапах на своем капитанском мостике, опершись о подоконник передними. Хвост – как бешено вертящийся штурвал. Дрожа от ненависти, воинственного возбуждения и невозможности сцепиться в честной рукопашной, противники со своих позиций поливают друг друга шквалом оглушительных оскорблений.

Отношения с остальными представителями собачьего рода немногим лучше. Все гордость, гордость проклятая. Врожденное высокомерие и нежелание подпустить к себе всяких там безродных на близкое расстояние. Если на прогулке к нему подбегает собачонка и приветливо петляет вокруг, обнюхивая его хвост, Кондрат встает как вкопанный, напряженно и холодно уставившись на заискивающую шушеру.

Никакой собачьей фамильярности, Боже упаси. Знаем мы этих шавок, мизераблей, побирушек, приживалов. Не наша это компания, не наше, что ни говорите, сословие.

Когда, отгуляв, мы завершаем круг, он садится и смотрит на Иерусалим.

Всегда в одном и том же месте – на площадке, куда обычно привозят туристов. Над этой странной его привычкой я размышляю восемь лет. Почему он с таким упрямым постоянством созерцает этот вид, неужели из соображений эстетических? Именно в такие моменты сильнее всего мне хочется проникнуть в его мысли...

Сидит как вкопанный. Наслаждается. Иногда уже и мне надоест, потянешь его – ну, хватит, мол, Кондраша, идем домой... – он упрямо дернет головой, не оборачиваясь. Упрется, сидит. Пока не насмотрится. Потом поднимается и трусит к подъезду, преисполненный достоинства.

Мой возлюбленный пес! Когда вот так мы стоим с тобой, в молчаливой задумчивости, на высоком гребне нашего перевала, под персиковыми облаками нового утра, – что видишь ты там, на холмах Иерусалима? Чем ты заморожен? Что за собачий тебе интерес в этих колокольнях и башнях, и куполах, в этих старых садах и дорогах? Или твоя преданность хозяйке достигает того высочайшего предела, когда возвышенные чувства сливаются в единой вибрации духа в тех горних краях, где нет уже ни эллина, ни иудея, ни пса, ни человека, а есть только сверкающая животная радость бытия, которую все Божьи твари – и я, и ты – чувствуют равно?

Нет такой преданности в человеческом мире.

Проклятая моя трусливая страсть заглядывать за толщу еще не прочитанных страниц уже нашептывает мне о том времени, когда тебя не будет рядом. Возлюбленный мой пес, не оставляй меня, следуй за мной и дальше, дальше, – за ту черту, где мы когда-нибудь снова с тобою будем любоваться на вечных холмах куполами и башнями другого уже, небесного Иерусалима...

Иерусалим, февраль 2000 г.

Любовь – штука деликатная

Он похож на львенка.

Сначала мне казалось – из-за цвета лисьего, – что он зверек незначительный.

Ошиблась: лев, детеныш льва, и цвет львиный, степной – цвет Саванны.

Надо бы сначала рассказать историю его обретения. Она проста, даже рассказывать неудобно: приобрели в буквальном смысле, то есть купили, отвалив, замечу, немалые деньги. Но это так, внешние очертания событий. Если же рассказывать по порядку: два года назад нас покинул любимый пес Кондрат, Кондрашевич наш, партизан Кондратюк. Он прожил с нами семнадцать лет, вошел в литературу, изображен в картинах, купался в любви и признании широких масс, ощутил вкус истинной славы... и, выражаясь языком высоким, библейским, «пресытившись днями своими, ушел к праотцам». Говоря же по-простому, по-человечески, потеряв его, мы ужасно тосковали и мучились, но никак не решались ввергнуть свои сердца в новый водоворот привязанности и любви, а каким он могучим бывает, этот водоворот, мы уже знали.

И все же тоска по собачьему другу взяла свое: однажды, гуляя по нашему району (рука еще помнила натяжение поводка в прогулках с Кондратом), мы повстречали человека с собакой. Обаяние лохматого пса, его пепельной морды, умнейших глаз остановило нас, пленило... Мы вцепились в несчастного мужика и замучили вопросами: кто, что, как называется порода и главное, извечное: «Где брали?!».

Оказалось, порода шотландская, редкая в наших краях, называется керн-терьер, и выводит их где-то в полях, на просторах своей фермы выдающаяся женщина Дора, собачий психолог и сумасшедший энтузиаст. То есть наш человек по всем понятиям.

Мы позвонили, договорились и встали в очередь на щенка, который должен был родиться через пару месяцев.

– О, это будет персона голубых кровей! – восклицала Дора. – Ведь он ребенок Бэби и Тигра, знаменитых чемпионов из рода в род...

Честно говоря, мы не искали звонких титулов, дворянских званий и голубых кровей. Я постаралась объяснить, что хотим мы просто милую собачку, домашнего дружка... Однако все мои жалкие попытки принизить значение будущего события не встречали никакого сочувствия ни в Доре, ни в отставном летчике-истребителе Узи Барабаше, чья керн-терьерша Бэби, чемпионка Европы и Южной Америки, дочь великого Мандарина и не менее великой Аеди Макбет (дедов и прадедов я не упоминаю в целях экономии бумаги), должна была произвести на свет нашего малыша от Дориного Тигра, чемпиона Израиля, Голландии и Бельгии... и уже прекратим этот утомительный и обидный для меня, плебейки, парад собачьих планет.

Мы ждали, день и ночь мысленно стоя в затылочек в общей возбужденной очереди. Очередь волновалась – ведь никто не знал, сколько щенков намерена Бэби принести.

Я же тайно переживала о своем: все эти два года вялого существования без любимого пса я так и не разучилась, подходя к дому, поднимать голову к окну, где семнадцать лет красовалась лохматая морда. И сейчас с замиранием сердца думала – неужели в мою жизнь вернется это окно, одушевленное преданным ожиданием и нетерпеливым подрагиванием наставленных на шаги хозяйки верных ушей?

* * *

Наконец нам позвонили: все хорошо, отличные щенки, шесть мальчиков и девочка. Вы в списке от Доры, ваше право выбирать первыми.

– А можно приехать прямо сейчас? – спросила я по простоте души.

– Пока не стоит, – сказал Узи. – Они еще слепые. Выбирать как нужно? Выбирать щенка – это ж надо в глаза ему поглядеть. Любовь – она штука деликатная. Вот недели через три-четыре...

И все же я напросилась приехать и взглянуть. Узи жил в небольшом городке в долине Аялон – той самой, где Иисус Навин останавливал в небе солнце для военных нужд древних израильтян.

Дом стоял на тихой, очень зеленой улице, и весь двор был укрыт какими-то лианами, виноградом, кронами пальм и австралийских кленов, так что одинокий солнечный луч, пробивший густые слои всех зеленых покровов, горел победным оком наступившей весны. Меня допустили только до стеклянной двери на террасу,

за которой жила мамочка Бэби со своим приплодом. Я соорудила из ладони козырек и заглянула внутрь.

На голубом спортивном мате под светом обогревателя лежали и грелись в корзине комочки шоколадного цвета, каждый размером с мобильный телефон. Меня охватило смятение. Это в роддоме хорошо, подумала я, где тебе не надо выбирать своего ребенка. Он лежит с биркой на руке, и твоя фамилия записана на ней четкими буквами. А тут – как я узнаю, как пойму, как среди прочих, забавных и милых, почую своего?

Через месяц я приехала опять. Щенки ковыляли на толстых кривых лапах, сталкиваясь друг с другом лбами, кувыркаясь, попискивая, оставляя лужи и смешно усаживаясь на мягкую попу. Я долго наблюдала за каждым, умильно подвывая, вскакивая со стула, крадучись, чуть ли не ползком следуя то за одним, то за другим. Вконец растерялась: я была готова забрать каждого.

В этот момент один щенок валко проследовал к расстеленной на полу газетке, обстоятельно отлил порцию, огляделся и вдруг уставился на меня любопытным доверчивым взглядом. И я увидела, что это – самый крепенький, самый лобастый, самый обаятельный типчик с веселым хвостиком и карими, абсолютно человеческими глазами.

– Браво! – воскликнул Узи. – Молодец, лучшего выбрала. Тут Дора приезжала, такая сумасшедшая! Провела со щенками четыре часа и как раз твоего назвала «номером первым». Хотя родился он четвертым по счету.

И опять потекли нудные дни ожидания: Узи отдавал щенков только тогда, когда они уже не нуждались в материнском молоке. Между тем щеголеватое имя Шерлок уже витало в доме, щебеча крылышками, готовое вселиться в своего хозяина.

Еще через месяц, совсем истомившись, мы поехали его забирать.

Щенки бодро бегали по застекленной террасе, а мамаша их, Бэби, чемпионка обоих полушарий, кружила рядом и беспокоилась: что за люди пришли, к чему бы это?

Нам хотелось схватить щенка в охапку и бежать с ним поскорее до самого нашего дома. Но нас усадили и велели слушать. Узи любил поговорить и, как все настоящие собачники, оказался слегка ненормальным.

– Что такое керн-терьер? – спросил он, подняв палец. – Это благородство, достоинство и ум. Его не нужно долго учить, чтоб не пачкал в доме. Он это знает от рождения! На него нельзя орать, боже тебя упаси! Обоюдное уважение, ласковый тон и деликатность обращения...

В этот момент маманя Бэби, чемпионка всех полушарий и стран, дочь прославленной Леди Макбет и внучка целого взвода выдающихся представителей собачьего истеблишмента, выбежала в центр персидского ковра, присела и сделала отменную лужу.

– Кажется... – пролепетала я. – Ваша собачка... там...

– Где?! – подскочил Узи. И заорал, и затопал, и, кажется, даже засвистел на свою собаку, и запустил в нее тапочкой. На что Бэби, к моему удивлению, не обратила ровным счетом никакого внимания. Видимо, такое дело было тут привычным. – Это неслыханно! – тяжело дыша, объявил Узи. – Это из-за потрясения, что сына забирают!

– Узи, – лениво улыбаясь, проговорила его супруга, – я давно тебе говорю: надо отдать наконец в чистку этот ковер.

* * *

К своему новому дому, как и к своему новому имени, Шерлок отнесся по-хозяйски. Дом оприходовал сразу, отчего я поняла, что не стоит дожидаться необходимости чистки ковра, а лучше свернуть его тихонечко и поставить, как солдата, на балконе. И имя выучил он сразу, вместе с тремя волшебными словами: «кушать», «гулять» и «вкусненькое».

В первые дни я пыталась обращаться к нему официально, полным именем. Хотя мои дети так и норовили называть его «Мочалкой» – из-за жесткой шерсти. При первой встрече дочь схватила его, подняла над головой и крикнула:

– Мочалка! Привет, Мочалка!

Пришлось призвать ее к британскому порядку и соблюдению законности.

Остальная учеба – всякая ерунда типа «Рядом!», «Ко мне!» и «Фу!» – пошла у Шерлока размереннее, а лучше сказать, ни шатко ни валко, так как не означала ничего приятного и вообще в планы его не входила.

А мы стали к нему привыкать, принаравливаясь, приглядываясь и потихонечку влюбляться.

* * *

Иногда я писала о нем у себя в «Фейсбуке», зная, как много страстных собачников среди моих друзей и читателей. Вот несколько записей первых месяцев нашей совместной жизни:

«Шерлок – щенок говорящий. Вообще-то он не болтлив и к выступлению готовится. Если ты говоришь ему что-то ласково-убедительное, он склоняет голову набок, снисходительно выслушивая всю твою чушь, изучая твое лицо и движения, с минуту помалкивает, как бы подыскивая ответные слова, и вдруг высоким голосом выдает удивительную сдвоенную трель. Это даже не лай, а какой-то выплеск радости: он отскакивает, припадает к полу, взмывает, перекувыркивается и залихватски вскрикивает. На человеческий язык это можно перевести так:

– Эх, ядрен корень!

Уже две недели как Шерлок осваивает мир, заодно прощупывая границы дозволенного. А мир, он огромен: наша улица и две лужайки с обоих ее концов. На одной лужайке – детская площадка, на другой – две пальмы, благоухающие собачьими приветам. Мир огромен, полон ужасающих неожиданностей, увлекательных странностей и диковинных персонажей. Например, в доме напротив живет небольшой бульдожка, часами стоящий за решеткой забора на задних лапах. Медленно ворочая башкой, он с физиономией лавочника, подсчитывающего барыши, провожает взглядом прохожих, кошек и собак.

Сегодня утром глядел на нас пару мгновений вполне меланхолично... и вдруг как рывкнет сильным тенором! От неожиданности Шерлок подскочил, перевернулся и выкатился с тротуара на проезжую часть; впрочем, быстро пришел в себя и стал, пружиня на всех четырех лапах, как боксер легчайшего веса на ринге, подбираться к дураку бульдогу с выражением “а ты ва-аще кто такой?” на морде.

На прогулках он хулиганит: хватает нас за штанины, вырывает поводок, жрет все, что удастся нарыть в траве, ускользнув от хозяйского пригляда; вчера чуть не сожрал чей-то прошлогодний окурочок. Тот торчал у него из пасти, как подобранный чинарик висит на губе у шпаны.

Боря сказал:

– Ну, знаешь... Кондрат – тот был корсаром и комиссаром. Но этот... Боюсь, по сравнению с этим Кондрат уже выглядит выпускником Высших женских курсов.

(А ведь мы с самого начала дали друг другу слово, что не станем баловать пса: в конце концов, собака должна знать свое место!

– Конечно, – решительно подтвердил Узи Барабаш. – И я говорю: собака должна знать свое место, и это место – в постели ее хозяев!)

Отдельного описания заслуживают его отношения с кошками. Местные “котиус помойиус” – особы независимые и незаурядные, свое древнее происхождение ведут от загадочных египетских кошек и выглядят соответственно: небольшое тощее тело на высоких ногах, маленькая голова, прижатые ушки, холодные высокомерные глаза (если какой-нибудь не выбит в уличных боях). Голоса их не поддаются описанию, но я попробую: это объединенный рев работающей электрической пилы и запущенной на предельную громкость арии Амнерис из оперы “Лида”. Все окрестные богатейшие помойки – их удельные поместья, и не дай бог слишком близко пройти мимо: несмотря на то, что табличек “Частное владение. Вход посторонним воспрещен” я там ни разу не видела, все равно лучше держаться подальше от мест обитания этих коварных и сильных фурий. Они имеют склонность нападать исподтишка. Однажды, когда Борис пошел выбрасывать мусор, к нему на грудь – совсем не с целью братских объятий – прыгнула кошка из мусорного бака.

Но Шерлок, не разделяющий сословных и расовых предрассудков, желает дружить с каждым, кого встретит на прогулке. Даже с бандитскими натурами вроде этих бездомных развращенных тварей, которые живут припеваючи – ведь их подкармливают все старушки нашего городка!

К тому же он невероятно любопытен и, услышав кошачьи вопли, предпочитает самолично разузнать, что за кипиш. Бросается в гущу событий с необоримым восторгом, и если б я дважды не поспела вовремя, не представляю, каким счетом от ветеринара завершилось бы это “приятное знакомство”...

...Теперь уже невозможно скрывать правду: наш аристократ Шерлок, потомок лордов и чемпионов, голубая кровь и чуть ли не кавалер Ордена подвязки, оказался мелкой шпаной, пройдохой и хитроуном. Себя он считает вожаком стаи, в которую включил всю семью, причем мы с Борисом плетемся где-то в хвосте. Умен он, конечно, как сто чертей, и видит всех насквозь. Владелец целой палитры душевных взглядов, которыми умело пользуется. Вообще лицедей изрядный. И хотя я терпеть не могу анекдоты, написанные правильным литературным языком (это ведь жанр устный, виртуозный, целиком зависящий от актерских способностей рассказчика), не могу не привести тут известный анекдот про рыболова и нахального лягушонка, который, высунувшись из пруда, заводит знакомство с робкого вопроса: “Нельзя ли, дяденька, рядом посидеть?” а заканчивает освоением дяденькиного кармана, где удобно размещается, как в собственном доме; а когда другой прискакавший из воды лягушонок робко спрашивает, нельзя ли тут посидеть, первый высовывается из кармана с хозяйским криком: “Да пошел ты!” – и ласково, подобострастно спрашивает рыбака: “Пральна говорю, дядь Вась?”

Так вот, на прогулке Шерлок то и дело оглядывается, ловит мой взгляд, останавливается и, склонив голову набок, проникновенно смотрит прямо в душу, как тогда на террасе, при первом знакомстве: “Пральна говорю, дядь Вась?”

И я, рассиропившись, начинаю сюсюкать приторные глупости, строить ему глазки, такому маленькому, рыжему... А он резко бросается в сторону, чтобы молниеносно схватить какую-нибудь ужасную дрянь, которую давно заприметил. Вообще на прогулках за ним нужен даже не глаз да глаз, а оба глаза, возведенные в квадрат, – он хватается все, что можно отодрать от тротуара и унести в зубах.

Любопытен он невероятно, всепоглощающе! Любопытен просто так, по-человечески, к миру. Если б речь шла о человеке, можно было бы сказать: жаден до впечатлений. Причем самых разных. Машина ли проехала, ученица ли плетется из школы, долизывая мороженое на ходу, вороны ли выясняют отношения, собака ли встретится – все это пища для размышлений и действий. Вот идут мимо нас две женщины в энергичном утреннем марафоне. Шерлок резко разворачивает меня и следует за ними, словно его увлекла их сугубо частная трепотня. А иногда остановится рядом с двумя встречными кумушками и стоит – не оторвать его, – внимательно слушает сплетни. Переводит взгляд с одной на другую, старательно вертит башкой, напоминая этим вдохновенного бездельника и раззяву: “А она что? А он что в ответ? А она ему на это?” Слушает внимательно, долго, затем оборачивается и саркастически смотрит мне в глаза, понимания ищет: “Вот дуры-то! Пральна говорю, дядь Вась?”

Если мы с Борисом собираемся куда-то уйти, то, как велела великая Дора, во избежание разгрома квартиры сажаем его в “тюрьму” – довольно удобную клетку-фаэтон, в которой он почивает ночами, а также совершает по четвергам выезды на высшие курсы собачьей премудрости. Но заметив, что я “одета на улицу”, он немедленно скрывается за креслом, под столом – где угодно, откуда выцарапать его не представляется никакой возможности, уж больно ловок и увертлив.

Бывает, что приходится сажать его в “тюрьму” за дело – когда он безобразничает и не может остановиться, заряжаясь сам от своих свирельных воплей, рычания и ошеломительных прыжков и наскоков.

Тогда стоит лишь прикрикнуть:

– В тюрьму захотел?! В тюрьму?!

И он нехотя — “Да ла-а-адно те...” – удаляется прочь презрительной походочкой малолетнего уголовника, валится в углу на ковер, протягивает вперед обе лапы, кладет на них рыжую башку. И оттуда смотрит на нас пристальным, и укоризненным, и насмешливым одновременно взглядом: “Ну и многого вы добились своими методами?”

По натуре он – типичная “деловая колбаса”; если б был человеком, был бы мелким бизнесменом, из тех, кто постоянно затевает новый бизнес, постоянно прогорает, берет ссуды, не платит, трясется, что его отдубасят... и все же опять берет огро-о-омную ссуду, типа – решается моя судьба: сейчас или никогда. Получается – никогда, что особенно видно на примере краденых пляжных тапочек. Но это целая эпопея, сначала надо рассказать о его игрушках.

Среди них есть любимые: веревочная псевдокосточка (которую он терзает и мутузит, провокативно рыча, чтоб мы, две старые клячи, побегали бы за ним да поотнимали) и резиновая уточка – его трофей в самом буквальном смысле слова: он выкопал ее из песка на детской площадке, да так, что этого не заметили ни младенец, ни его бабушка, ни даже я, хотя Шерлок нес в зубах свою фартовую добычу до самого дома.

Есть и любимая кость, купленная мной по ошибке в зоомагазине. Она великовата для такого небольшого песика – крученая, роскошная, рыжая, как и он сам. Шерлок неразлучен с нею, хотя в соотношениях размеров это как Ленин с бревном на субботнике. И если уж мы вспомнили политических деятелей: Шерлок держит свою кость в зубах, как дорогую гаванскую сигару, так напоминая этим известный портрет Уинстона Черчилля, хочется немедленно налить ему виски.

Однажды Борис лежал на кровати с журналом. Он задремал, как это часто случается в середине дня, «проснулся оттого, что Шерлок стоял над ним, уперев передние лапы в грудь и деятельно пытаясь вставить ему в приоткрытые губы свою любимую “сигару”. Ну надо же, приговаривал Боря, когда отплевался, пожалел своего, нажитого, угостил от души.

Однако помимо игрушек любимых есть у него и ненавидимый синий мячик, резиновый, писклявый и слишком большой, чтобы его можно было захватить зубами и как следует отколошматить об пол. Тот самый случай, когда “видит око, да зуб неймет” – то есть ситуация для психики нашего пса непреодолимая. Поэтому, присев на задницу, Шерлок облаивает несчастный мячик простонародным скандальным голоском продавщицы гастронома, после чего со страшными проклятиями гоняет носом по всему дому.

Показательный случай с пляжными тапками характеризует алчную натуру нашего авантюриста как нельзя лучше. Вообще это не ново: щенки таскают и грызут хозяйскую обувь. Моя приятельница жаловалась, что ее спаниель в розовом детстве сожрал пять (!) пар новых кроссовок. Так что я не жалуясь, просто живописую. Классическая картина такова: щенок хватает ботинок (сандалию, туфлю, тапку) и утаскивает в укромный угол, где можно спокойно позавтракать. И я знаю только одну собаку – пройдоху Шерлока, – что ухитрится тащить одновременно и правый, и левый экземпляр. Да-да, в случае с пляжными тапками: он догадался (высокий ай-кью шотландского дворянина!), что хватать их надо за резиновые перемычки, разделяющие большой и второй палец ноги. Не забуду картины: сначала старательно подогнав их один к другому, он с минуту ходит вокруг своей инсталляции. В глазах – напряженная работа мысли. Наконец аккуратно и точно захватывает зубами обе перемычки и, услышав мой восхищенный вопль, бежит прочь, высоко задрав голову. Через пять метров он сам выронит свою добычу, но пока упоенно бежит, а по обе стороны от физиономии тяжелыми поникшими крыльями волокутся обе тапки, и отнять их не представляется возможности, ибо, как говорит Лора, “кэрн – это маленькая собака с зубами немецкой овчарки!”».

* * *

С самого начала Дора заявила, что Шерлок просто обязан пройти курсы благородных джентльменов.

– Когда он будет показываться на международных выставках... – начала она.

Я опять робко попыталась объяснить, что взяла в дом не марширующего солдата и не натаканного на победы спортсмена, а близкую душу.

Дора лишь гневно отмахнулась:

– Ты хочешь загубить ТАКУЮ собаку?! Обрубить ветвь славной шотландской династии?!

Я сжалась, не решаясь возразить. А она напирала. Схватила Шерлока на руки, открыла ему пасть.

– Ты видала еще где-нибудь такую красоту?! – крикнула Дора. – А экстерьер? Ты видала когда-нибудь такое лицо?!

Я скорбно промолчала и не стала говорить, что, по-моему, наш Шерлок – просто милая рыжая собачонка. Ладно, вздохнула я. Династия так династия. Экстерьер так экстерьер.

И мы – при моей кошмарной занятости – стали ездить на уроки на собачью ферму. Полтора часа в один конец – это если без пробок.

Первой командой, которую требовалось выучить, была команда «Рядом!». Для такой цели резалась на кусочки сосиска, и бегущему слева от меня псу я должна была выдавать по крошечной порции с криком: «Молодец!».

– Не так! – вопила Дора. – Громче! Эмоциональней, ярче! (Дора вообще-то говорит на иврите, но собачьи команды знает на восьми языках.) Ты должна петь, как труба иерихонская: «Ма-ла-дэээс! Ха-ро-щи мал-чи-и-ик!» Он должен понимать, за что страдает!

Он понимал. За сосиску Шерлок готов был не то что рядом трусить, но и дьяволу душу продать. Так что учение шло семимильными шагами. Правда, без сосиски он никуда не бежал. И если вдуматься: вы бы побежали? Я – нет.

– Он гений! – убежденно говорила Дора. – Шерлок – это один сплошной интеллект!

Я опять помалкивала. Нет, я готова была признать, что мой пес – паренек ушлый; неясно только, почему этот могучий интеллект не способен осилить простого правила: терпи до прогулки...

Попутно мы совершили ряд дорогих приобретений, например, купили какой-то особенный строгий ошейник – для пущей дисциплины.

Когда я попыталась выяснить, не сдавит ли щенку горло это орудие пытки, Дора презрительно ответила: «Это не пу-дэль! Это – КЕРН!»

И сейчас я готова признать ее правоту. Шерлок поразительно силен для такой небольшой особи: уж если не намерен двигаться дальше, то встанет, как монумент, и фиг его с места сдвинешь, а проказлив, как тысяча чертей, и своего все равно добьется – не мытьем, так катаньем. Без строгого ошейника мой пес вообще скоро стал бы неуправляемым беспризорником.

* * *

Буквально в первый же месяц совместной жизни все мы пережили изрядное потрясение, а Шерлок помимо имени приобрел еще и кличку.

Дело в том, что на втором этаже нашей квартиры мы построили мастерскую для Бориса. Сколотили стеллажи, перевезли картины, несколько дней обустроивали рабочее место... Наконец в одно прекрасное утро наш художник установил мольберт, выдавил краски на палитру и приступил к работе.

Шерлок, само собой, попытался освоить дополнительные метры своей жилплощади. Однако твердой рукой отец закрыл дверь перед его черным носом, жадно вдыхающим ароматы краски и терпентина. И пес вроде бы смирился: прискакал вниз и стал гонять свою резиновую уточку, медленно сжимая ее в зубах и выдавливая из страдалицы протяжный писк.

В полдень Борис спустился выпить кофе. Тут забежала на минутку наша дочь, завертелся разговор...

– А где Шерлок? – спросила Ева спустя полчаса. Мы переглянулись и подскочили.

И в этот момент увидели его. Вернее, не его, а... По ступеням лестницы со второго этажа спускался некто, и лишь глаза поблескивали в лиловой чаще бороды и усов. Он останавливался на каждой ступени, поглядывая на нас сквозь эту лиловую чащу, со своим коронным: «Пральна делаю, дядь Вась?» – и по всей лестнице за ним тянулись отпечатки лиловых лап. Это была красивая картина.

Боря взвыл:

– Кобальт фиолетовый!!!

Мы заголосили, все трое одновременно, так как не знали, сколько краски он сожрал и как долго – час? два? – может после этого прожить...

Боря, чувствующий вину за то, что, выйдя из комнаты, неплотно притворил за собой дверь, суетливо повторял:

– Там, понимаешь, льняное масло, в краске-то... Вот он на масло и потянулся...

До ветеринарной клиники в Реховоте, где работает знакомый наш врач, к счастью, дозвонились быстро.

– Не паникуйте, – сказал доктор. – Не сходите с ума. Просто садитесь в машину и привозите его немедленно. Вас будут ждать.

И едва мы внесли в приемный покой свое еще живое произведение искусства с фиолетовой физиономией, предупрежденная секретарь Марина вскочила и постучала в дверь смотровой. Оттуда выглянула врач в зеленом халате, оглядела приемную, полную всевозможной живности, и сказала:

– Кто тут живописец? Входите!

Так еще раз подтвердилось, что наш Шерлок – парень крепкий, каким и положено быть шотландскому горцу. Ведь согласно решительному вердикту нашей Доры: «Это не пудэль! Это керн!»

Правда, мне и до сих пор чудится, что на солнце его пушистая морда отливает чем-то романтическим, лиловым... И что тут скажешь? Живописец!

* * *

Вторым серьезным потрясением для Шерлока (да и для нас тоже) стала неизбежная процедура по изменению щенячьей внешности. Не могу сказать, что он франт, но все же уважение к собственной шерсти, рыжему хвосту и львиной гриве у него наличествует. Недаром он так внимательно и с таким тайным удовлетворением вглядывается по вечерам в свое отражение в темной балконной двери.

– О чем вы думаете! – бушевала Дора. – Щенок чудовищно оброс! Он похож на медведя. Немедленно записываю вас на тримминг!

Честно говоря, я самонадеянно полагала, что смогу стричь Шерлока сама, точно так же, как когда-то стригла Кондрата – ножницами, с уговорами и песнями, с воплями и обидами...

Ничуть не бывало: выяснилось, что КЕРНОВ (именно так, судя по интонации и округленным глазам Доры) не стригут, а трим-мин-гуют...

– Что это значит? – осведомилась я слабым голосом.

– Это значит: выщипывают.

– Вы-щи-пы-вают?! Но, боже мой...

– Не волнуйся, это не больно, – отмахнулась Дора. – Для него это просто кейф!

Нет, может, какой-то глупой собачонке это издевательство и показалось бы «кейфом»... но только не Шерлоку. Уже одно то, что тебя ставят на оцинкованный

стол, привязывают за шею – для статичности, и близкие, которые клялись тебе в любви еще сегодня утром, хватают тебя за голову и под вопли Доры, облаченной в клеенчатый фартук: «Держи его, черт побери!!! Держи эту избалованную собаку!!!» – держат-таки, и держат крепко, так что и укусить невозможно, а в это время тебя бессовестно раздевают до нитки, лишая самого привлекательного в твоей львиной внешности: твоей роскошной платиновой шерсти с красновато-рыжей полосой вдоль хребта...

Это был мучительный и долгий трехчасовой процесс, в какой-то мере унижительный для нас обоих: я держала его за щеки, он косил на меня ошалелыми карими глазами: «Что это делается, дядь Вась?! О боже! Зачем?! Помогите!!!»

Дрожал от ярости и недоумения, взвизгивал, пытался соскочить со стола... Но все кончается. Оцинкованный стол, пол вокруг, клеенчатый фартук Доры, ее брюки и рубашка – все было усыпано рыжими волосками, а Шерлок... Его жесткий лохматый мускулистый облик преобразовался в какую-то потертую куцую замшевую куртяшку...

Мы возвращались с фермы домой. Борис угрюмо крутил руль, время от времени неодобрительно поглядывая вправо, где на коленях у меня лежал ощипанный, как курица, шотландский наш дворянин. Он все еще дрожал, а я гладила его мягкую замшевую спинку и голосом Сони из пьесы Чехова «Дядя Ваня» повторяла, как заклинание:

– Мы обрастем, мой милый, мы обрастем...

* * *

Самое наше любимое место прогулок – Парк молодежи. Хотя по справедливости надо бы его называть Собачьим парком.

Это огромный травяной амфитеатр в центре нашего городка, спускающийся к открытому бассейну. И вот там-то вечерами, когда спадает жара, происходят самые приятные и важные знакомства в собачьей жизни. Там можно спустить Шерлока с поводка, сесть на траву и наблюдать, как, увидев любого незнакомца, Шерлок сразу же бежит навстречу, раскрыв объятья... Он очень дружелюбен, но в случае чего умеет себя и защитить. На днях я с восхищением наблюдала, как мой отважный щенок оттрепал нагловатого черного спаниеля Гошу. Наскакивал и наскакивал, угрожая «р-р-р-азорвать вовсе к чер-р-р-ртовой матер-р-р-ри!», пока хозяйка не увела того с поля боя, от греха подальше, прочь от этой «агрессивной пигалицы».

Люди там тоже попадают, в качестве приложения к собакам. Случаются симпатичные знакомства, да и тем для обсуждения предостаточно – мало ли животрепещущих вопросов в нашей общей собачьей жизни.

Но по-настоящему мы подружились только с Шимоном и его псом по имени Кетч.

– Ты же знаешь, что это слово значит по-английски? – спросил Шимон в первый день знакомства. – Правильно, «поймать». Смотри, я сейчас кину ему палку на другой конец парка, он стрелой побежит за ней и поймает на лету. Оправдывает свое имя... Но знаешь, поймать палку на лету – это всё такие глупости. Он, конечно, хороший пес, но вот моя предыдущая собака – его звали Хантер... тот у меня был особенный. Он был такой же породы, западноевропейская овчарка, и умер в 17 лет. Ты же разбираешься в собаках, да? Знаешь, что эта порода – вовсе не охотники, но тот мой пес был и другом, и сторожем, и охотником... Знаешь, как он умер? Мы

были с ним в армии и сидели вот так на поляне, как я сейчас с тобой сижу. Пуля попала в моего пса, прошла насквозь и застряла у меня в боку.

Шимон приподнимает майку, показывая розовый рубец.

– Видишь, какой шрам остался? У меня таких несколько – мы с Хантером повоевали в свое время... Так вот, если бы в тот момент его не оказалось рядом, меня бы сейчас тут не было, это такие пули, знаешь... они не оставляют шанса. Собака умерла в тот же миг, но меня спасла. У меня есть целый альбом фото... и даже видео есть. Я каждый раз плачу, когда смотрю... Ведь мы семнадцать лет провели вместе, почти не расставаясь. Можешь представить себе? Семнадцать лет!.. Этот пес, Кетч, у меня тоже хороший, но его пришлось дольше дрессировать. Сейчас ему два года и три месяца, и он отличный малый, но не тот, конечно, не Хантер. А у меня всю жизнь собаки только этой породы. У моих детей тоже обязательно в доме есть собака. Вон те мальчуганы – видишь, кувыркаются на поляне? – мои внучата. Эти научились говорить слово «собака» раньше, чем «мама» и «папа». Дед их постарался. Я свое дело знаю...

И удаляясь с нашей поляны после целого часа беготни, я слышу за спиной детские голоса в разгаре спора:

– Ты что, не знаешь, как его зовут? Его зовут Холмс, сыщик Холмс!

А и правда сыщик, думаю я, вот ведь нашел он свою резиновую уточку.

* * *

Море он увидел впервые в возрасте трех месяцев.

Как всегда, мы заказали комнату в любимом приморском кибуце, где дуга залива буквально подбирается к самым домикам, а дружелюбные кибуцные псы приходят к вашей веранде пожелать доброго утра, заодно намекая, что не стоит выбрасывать срезанные корочки голландского сыра, а также колбасные обрезки и многие другие ценные вещи.

Там, на высоком холме над заливом, ведут многолетние раскопки студенты кафедры археологии Иерусалимского университета; там древние каменные – в форме гигантского куриного бога – якоря девятого века до нашей эры просто лежат на земле среди обломков колонн у входа в музей древней финикийской крепости Дор, которая возвышалась над этой бухтой в незапамятные времена.

Да, в эту бухту приводили свои корабли самые опытные мореходы древности – огненноглазые, огненнородые финикийцы, которые предпочитали не воевать, а торговать. Здесь заложили они свой порт Дор, и если глянуть с вершины холма, то остатки мощных укреплений до сих пор видны в пронизанной солнцем воде залива. Отсюда с большой высоты ныряют в море кибуцные пацаны с риском разбиться о древние стены...

Мы приехали утром, внесли чемодан в комнату, схватили Шерлока и побежали на берег. Он, почуяв другой воздух, азартно мчался за нами по дорожке между кустами олеандров, как всегда, пытаясь ухватить поводок, затормозить бег, упереться и поиграть... пока не увидел широкую полосу песка, а за ней – нечто невообразимое: бурное, грандиозное, фыркающее белой пеной и рокошующее, как целая стая бульдогов. Он взвизгнул и бросился вперед, остановился, замер как вкопанный... И вдруг разразился оглушительным грозным лаем – вот каким оказался смельчаком! Стоял у самой кромки прибоя и лаял на стихию, которая в секунду могла его равнодушно слизнуть своим гигантским языком.

С тех пор каждое утро мы с Шерлоком прогуливались вдоль берега, где наш пес познакомился с разнообразным шумом волн, впервые окунул морду в песок и вдохнул романтики полную пасть... Там он гонялся за крошечными крабами, перебежавшими от норки к норке в мокром песке, дивился на огромную, как чемодан, медузу, вынесенную волной на берег и безнадежно таявшую на солнце... Там однажды утром мы с ним наткнулись на мертвую морскую черепаху, совершенно целую, только с окровавленной ластой – видимо, сказал Боря, попала под винт корабля... И наш щенок долго сидел чуть поодаль, опасливо склонив голову набок, не решаясь подойти к морскому чудовищу, столь не похожему на собаку.

Ранним утром и на закате, пока Борис на веранде писал бесконечные морские этюды, пытаюсь поймать и запечатлеть состояние воздуха с его неуловимым переменчивым цветом волн и облаков, мы с Шерлоком устремлялись вдоль берега по прихотливой кромке уютных бухточек в сторону электростанции в Хадере – мимо старой полуразрушенной турецкой крепости, мимо рыбачьих лодок с длинными свертками густых сетей, мимо вышек спасателей, что гигантскими журавлями торчат над пляжами, – как обычно, не замечая, насколько далеко зашли... Волны накатывали на берег и слизывали наши следы – босые человеческие и цепкие щенячьи, – а я пыталась вообразить себе некую женщину в той давней, очень давней крепости финикийского порта Дор: как она смотрела в одно из окон и видела приблизительно то же, что видим сейчас мы, я и мой пес: синеву, облака, слепящие блики на гребнях волн.

А солнце всходило, и солнце садилось, и не было ничего нового под ним: те же люди и те же собаки. Мой пес останавливался, когда уставал, и долго смотрел, не шевелясь, на тающий в морской дали парус какой-нибудь прохожей яхты и на белые панамки и кепки на головах студентов-археологов, которые все копали и копали на самой жаре, на гребне древнего холма, где грозно высились в древности башни финикийского порта...

Вот, собственно, и все – пока. Наша совместная дорога лишь в самом начале. Надеюсь, она будет длинной. Радостной. И приведет нас в разные прекрасные местности. В конце концов, как утверждают знающие люди, райский сад расстилался где-то тут, неподалеку.

Наши дни бегут, а я вспоминаю, как из-под ладони глядела сквозь окошко в двери террасы на крошечные комочки новорожденных щенков, замирающим сердцем пытаюсь угадать: который мой? Мой-то который? И сладится ли у нас, полюбим ли друг друга... Оно ведь по-разному бывает. Как говорит Узи Барабаш, бывший военный летчик: «Любовь – она штука деликатная...»

Иерусалим, апрель 2011

© Д.И. Рубина.

Фото предоставлено Д.И. Рубиной.